

АНДРЕЙ УБОГИЙ



КРАСНАЯ ЗОНА

РОМАН

*Страшнее всех враг,
которого не существует.*

У Б о

1

Кровь ударила из глубины раны с такой силой, что алый фонтан достал до операционной лампы, забрызгал её — и всё погрузилось в красные сумерки.

— Зар-раза! — прохрипел Руднев, пытаясь рукою с салфеткой прижать повреждённый сосуд.

Кровь забрызгала и очки хирурга: всё для него расплывалось в багровом тумане.

— Протри очки! — крикнул Руднев сестре.

Ещё и трубка отсоса, как назло, забилась, и, пока сестра протирала тупфером очки Руднева и прочищала отсос, ему пришлось отчерпывать кровь свободной ладонью. Он сейчас оперировал ножевое ранение подвздошной артерии: лапаротомная рана была глубока, живот полон крови, и повреждение никак не удавалось разглядеть. Это злило Руднева больше всего: то, что смерть пряталась где-то под хлопавшей кровью, и до неё ещё нужно было добраться. Казалось, что там, в глубине раны, затаился его личный враг, издававшийся и над хирургом, и над бесчувственным раненым. Рассудком-то

УБОГИЙ Андрей Юрьевич родился в 1963 году в городе Железногорске, в семье врачей. Окончил Смоленский медицинский институт. Живёт и работает в Калуге. С 1986 года и по сей день — практикующий хирург-уролог. Прозаик, эссеист, драматург. Автор одиннадцати книг прозы. Имеет многочисленные публикации в российских журналах и альманахах. Лауреат нескольких литературных премий. Роман А. Убогого “Доктор” переведён на итальянский язык.

он понимал, что никакого врага там не было и не могло быть — просто-напросто жизнь человека стремительно вытекала через повреждённый сосуд — но сердце Руднева знало, что враг существует, и незримость его есть всего лишь одна из коварных уловок.

Отсос напряжённо гудел, осушая рану; из-под плотно прижатой салфетки кровь больше не поступала; и после красных зловещих сумерек в операционной снова всё было видно ясно и чётко. Держа правой рукой зажим наготове, Руднев стал медленно сдвигать вбок пальцы левой руки, уже занемевшие от напряжения. И даже прыгнувшая навстречу струя не успела ему помешать защёлкнуть зажим на центральном конце повреждённой артерии, а через короткое время положить “бульдог” на периферию. Теперь можно было и отдышаться, и размять затёкшую кисть, и поинтересоваться у анестезиолога:

— Ну, как он?

— Было плохо, сейчас получше, — отозвался словоохотливый Серебряков. — Ты, Михальч, с кровотечением справился?

— Вроде справился...

— Вовремя, а то я уж не знал, как ему давление поднимать. Лью, понимаешь, в две вены, а оно всё по нулям! А чего ты, родимый, остановился? Давай, шей — пока мужик без ноги не останется...

Пятинулёвая тончайшая нить почти невидима, а когда она прилипает к окровавленным тканям, её и подавно не разглядеть. Руднев ориентировался в основном на остро сверкающий серпик иглы. Он то погружал его иглодержателем в стенку артерии, то ловил, доставая из тканей, этот игольчатый блеск — и, стежок за стежком, концы повреждённой артерии соединялись. Один ассистент осторожно натягивал нить, другой сушил рану тупфером: пока всё шло, как нужно. Руднев испытывал прямо-таки наслаждение, наблюдая, как смыкаются повреждённые ткани и как рана, недавно полная крови и сгустков, становится всё аккуратнее. Да, поле боя, в который уж раз, оставалось за ним: хирург был даже немного разочарован тем, что так быстро справился с кровотечением — и незримый противник опять отступил, так и не показавшись ему на глаза. “Да и существует ли он вообще? — думал Руднев, которому оставалось положить всего два-три стежка. — Или смерть — это просто ничто, пустота? Но тогда с чем я воюю?”

Скоро он запустил кровоток, сняв сначала дистальный, а следом центральный зажим. Сосудистый шов не кровил, и Руднев хотел уходить: лапаротомную рану его ассистенты прекрасно зашили б и сами. Но, как только он сделал шаг от стола и сдёрнул окровавленную перчатку с левой руки — в лампу снова ударил фонтан алой крови! Всё вновь погрузилось в багровые сумерки, а Рудневым вдруг овладела такая слабость, что он не мог даже пошевелиться. Руки не слушались, ноги как ватные: казалось, что из него самого стремительно вытекает кровь. Он хотел крикнуть помощникам: “Ребята, да что ж вы застыли — работайте!” — но голос тоже пропал, и Руднев мог только мычать от бессидия и от стыда. Затем стон превратился в тоскующий вой... Который и разбудил пожилого хирурга.

2

Какое-то время кошмар его не отпускал. Хотя вокруг вместо блеска и кафеля операционной темнели привычные контуры мебели да бледно серел прямоугольник окна, сердце Руднева билось отчаянно, и дышал он так часто, словно только что финишировал после забега. И он до сих пор не был уверен, что через секунду-другую не вернётся в операционную, где из раны по-прежнему бьёт фонтан крови. Правая рука шарилась по одеялу, отыскивая хоть какой-нибудь инструмент, а левая пыталась нащупать салфетку, которой можно затампонировать рану.

Лишь через пару минут сознание полностью возвратилось к нему, и он поверил в реальность того, что его окружало: постели, ночного окна, потолка, на котором бледная тень люстры длинней самой люстры. Слава Богу, он не стоял над окровавленной раной и не был обязан скорей ушивать повреждённый сосуд.

Отдышавшись, он сел и нашарил будильник. Засветившийся циферблат показал начало шестого: хорошее время, уже можно вставать. Босым стопам пол показался холоден, а скрип половиц был Рудневу так неприятен, словно это скрипело само его тело. “Старый стал...” — вздохнул он и подошёл к окну неуверенными спросонья шагами.

Понемногу светало. Над гаражами, деревьями чахлого сквера и рядом ближайших домов небо чуть розовело, и отчётливо различался купол храма и шпиль колокольни вдаль, за домами. Руднев машинально перекрестился и тут же подумал: “Разве я верующий?” И ответил себе самому: “Конечно, верующий — хоть и в церкви почти не бываю...” В хирургическом мире, где прошла его жизнь, без веры в высшие силы нельзя. Такая работа: как ни будь опытен и осторожен — ни один хирург не обходится без осложнений и даже смертей, в которых, хотя бы отчасти и косвенно, он виноват. А раз нет безгрешных, то нет и настолько самонадеянных, что верят только в себя, в свой собственный ум и удачу. Каждый хирург — если, конечно, он не бездушный чурбан и не полный кретин — ожидает поддержки и помощи свыше.

Утро шло своим чередом. Справив нужду и умывшись, Руднев стал делать зарядку. Начиная с дыхательных упражнений — стоя перед окном и любясь восходом, — Руднев чувствовал, что их в комнате словно двое: он сам — и его постаревшее тело. Всю жизнь между ними шёл нескончаемый спор, уже надоевший обоим. Тело просило: “Оставь ты меня в покое! Ты же видишь: я уж не то, каким было когда-то, я плохо гнусь, мои суставы скрипят и болят, о спине, сорванной множество раз, вообще лучше не говорить — так зачем же ты мучишь себя и меня? А инсульт — ты забыл об инсульте? Пусть ты тогда быстро восстановился, но всё равно ведь пришлось уйти из больницы. Ты хочешь, чтоб это случилось повторно и чтобы ты, как собака, снова не мог ничего говорить, хотя всё понимал?”

“Да помню я, помню, — успокаивал Руднев себя самого, от наклонов и махов переходя к приседаниям. — Ты же видишь, как я осторожен, и уже не приседаю на одной ноге, как когда-то. Мы легонечко, по-стариковски: вот и колени почти не болят, если не присаживаться глубоко...” Он знал, что в начале любой тренировки с телом и нужно обращаться вот так осторожно и вкрадчиво. Ведь его, простодушное, можно легко обмануть, навязать ему свою волю, но только после того, как оно разогрется и разохотится, и тогда уж само будет требовать новых нагрузок. Тело, как женщина. Она тоже, бывает, сначала стесняется, мнётся, но стоит её разогреть, так потом не удержишь...

Он лёг навзничь и начал ритмично сгибаться, поднимая колени к груди: у них, бегунов, это упражнение называлось “складной нож”. Лопатки и пятки стучали об пол, дыхание становилось всё чаще, и разогретое тело казалось уже не таким старым. “Вот видишь, — говорил ему мысленно Руднев, — а ты не хотело делать зарядку! Ты слушай меня: я плохому не научу...”

“Так я тебе и поверило, — отвечало привычною болью в спине его напряжённое, взмокшее тело. — А кто меня мучил всю жизнь? Кто не давал мне ни сна, ни покоя, кто заставлял меня пробегать все эти тысячи километров на тренировках, а потом умирать, финишируя на стадионах?”

“Ладно-ладно, не ной, — возражал ему Руднев. — Тебе вообще-то грех жаловаться. Ты знаешь, каков средний срок жизни хирурга? Всего пятьдесят пять лет. А ты живёшь вместе со мной уже без малого пятьдесят восемь — и ещё, между прочим, на что-то способно...”

Оставалось как следует проработать мышцы спины. Отчего-то и самому Рудневу, и его разогретому телу эти упражнения нравились больше всего. Повернувшись ничком — доски пола под ним уже были влажными — Руднев стал поднимать то плечи и голову, то дрожащие от напряжения ноги. Ягодицы и длинные мышцы спины сокращались и расслаблялись, и в этих движениях звенело что-то такое, что заставляло Руднева вспомнить былые победные финиши.

Да, по утрам вспоминалось спортивное прошлое: времена, когда молодой Руднев не лежал, как сейчас, ничком на полу, а финишировал на стадионе. Но и тогда отношения с собственным телом у него сложно складывались. Он то подчинялся ему, то командовал им, заставляя тело терпеть и страдать, но всегда ощущал, что центр его личности находится где-то вне тела, не вполне совпадая с той жилистой и мускулистой оболочкой, которая в эти секунды — ну, скажем, бежит по виражу, стараясь не выпустить к бровке соперников.

Острее всего разделение с собственным телом он пережил давней морозной зимой во время финиша в литовском Каунасе. Там проводилось первенство медицинских вузов страны, и Руднев до сих пор с гордостью вспоминал финальный забег на полторы тысячи метров. Бежали в манеже, по двухсотметровому круту, и пятикурсник Иван Руднев поначалу даже и не надеялся оказаться в тройке призёров. Куда там! В стартовом протоколе заявлено аж два мастера спорта. И оба, кстати, литовцы: уж у себя-то дома они порвут всех...

После выстрела, запустившего их забег, Иван думал только о том, как не упасть в тесной, ожесточённо толкающейся толпе, в окружении чужих спин, затылков, острых локтей и сухой дробы шиповок по жёсткой резине дорожки. Но вот, после стартовой сутолоки, бегуны растянулись в цепочку. Иван видел, что впереди него бегут те самые два фаворита-литовца в жёлто-зелёных майках, в победе которых никто здесь не сомневался. Бежалось пока что легко. Та усталость, что часто накрывает средневика уже в самом начале дистанции, сегодня щадила Ивана, и он, как приклеенный, держался за лидерами, которые с каждой прямою и виражом ускоряли и так-то высокий темп бега. “Давайте-давайте, — с каким-то весёлым злорадством думал Иван. — Ещё поглядим, у кого больше прыти!” Он с удивлением чувствовал, что воспринимает себя, шаг в шаг бегущего за долговязыми лидерами, как что-то почти постороннее и чуть ли не хладнокровно наблюдающее за интригой забега. Скоро этот наблюдатель отметил, что позади уже почти половина дистанции, и что их тройка — он и литовцы — метров на двадцать оторвалась от остальных. “Значит, — сообразил Иван, — мы трое и разыграем медали...”

Усталость рухнула на него неожиданно. Свет померк, воздух стал словно пустым — его не хватало натужно свистящей груди, — а ноги сделались так медлительны и непослушны, будто бежали в воде. “Терпеть, терпеть!” — приказывал Иван себе самому. Он понимал, что настал самый важный момент: когда он сражается уже не с соперниками (они растворились в горячем тумане), а со своим собственным телом, которое с каждым мгновением делалось больше и больше, вытесняя из мира всё остальное, кроме себя самого. Больше не было ни виража, ни чёрной дорожки с белой разметкой, ни двух жёлто-зелёных спин впереди, ни зрителей, ни красных флагов в гулком пространстве манежа; было только страдавшее тело Ивана, которое умоляло его о пощаде. Но он, чьё сознание всё ещё находилось где-то вне тела, понимал, что нельзя потакать своей слабости. Поэтому он и приказывал сам себе, в такт тяжёлым шагам: “Потерпи, потерпи, потерпи...”

Очнувшись ему помогли крики зрителей. Поскольку близился финиш, вдоль всей дорожки выстроились болельщики — большинство местные, — и они азартно кричали, размахивая красными флажками. Даже из глубины усталости Иван слышал их крики; и было отрадно вспомнить, что в мире, кроме его страдавшего тела, есть ещё эти болельщики, их крики, руки, флажки — и есть две спины впереди, которые, как ни странно, почти не отделились за время, пока Иван находился в полуобмороке усталости. Он понимал, что зрители подбадривают своих, и уже не сомневаются в их победе. “Рано радуетесь!” — подумал Иван в тот момент, когда гонг судьи зазвенел, обозначая последний круг мучительного забега. Оставалась прямая, вираж и ещё прямая. “Вперёд!” — приказал Иван сам себе, и его тело, которое снова стало послушным, быстрее застучало шиповками по резине дорожки.

Дальнейшее происходило, словно во сне. Сначала один, а затем и другой долговязый соперник — лица их были бледны, рты перекошены — сдвинулись влево и медленно переместились за спину Ивана. В выраж он успел войти первым, подумав: “Здесь не обгонят — осталась прямая...”

Так тяжело — но и так легко! — как на той последней прямой, ему никогда ещё не было. Он обгонял не только соперников, но и себя самого, своё тело, которое всё ещё мучилось на дорожке, в то время как сам Иван словно со стороны наблюдал за его содроганиями. Он тонул в вязкой удушливой мгле — и одновременно всплывал к белым финишным клеткам, где его ждали судьбы, чьи секундомеры Иван вот-вот должен был остановить. Казалось, что он уже умер — и всё происходит с ним после собственной смерти. Он отделился от тела настолько, что чуть не закричал самому же себе: “Молодец!” — в тот момент, когда первым стал падать грудью на финиш...

4

Но всё это осталось в прошлом и оживало только в воспоминаниях. Впрочем, и в них была своя сила, которая помогала жить дальше. “По крайней мере, есть о чём вспомнить”, — думал Руднев, заканчивая зарядку и отправляясь в душ.

После душа он завтракал. Аскетический быт пожилого врача допускал всего четыре разновидности завтрака, чередовавшиеся с той неизбежностью, с какой сменяют друг друга четыре времени года. Варианты такие: хлеб с сыром и мёдом, сырая гречка, залитая накануне водой и по вкусу неотличимая от варёной, сметана с творогом и наконец — запаренная кипятком овсянка с изюмом.

Сегодня на очереди была овсянка. Две горсти хлопьев Руднев смешал с горстью изюма и подлил в миску дымящегося кипятка из только что заставившего чайника. Одновременно он заварил и чай — чёрный, цейлонский — в большой синей чашке, вмещавшей четыреста граммов. Пока овсянка и чай настаивались под перевёрнутыми блюдцами, Руднев оделся, размышляя о том, как разумно он упростил свой быт после развода с женой. Оказалось, что бытовые заботы не так и страшны и занимают не так много времени, как это принято думать. “Быт — это всё бабы выдумали, — ухмылялся Руднев, — чтобы набить себе цену...” Главное, не давать ему, быту, воли — примерно вот так же, как и спортсмен не даёт воли телу, а сам командует им.

А уж с этой всей современной техникой — пылесосами, микроволновками да стиральными машинами — домашнее хозяйство превращается просто-напросто в развлечение. Разве трудно ему раз в неделю десять минут погудеть пылесосом или затолкать ворох белья в барабан стиральной машины и нажать кнопку, чтобы через пару часов достать почти сухие футболки, трусы и рубашки? Эту игру как-то даже смешно называть работой — по сравнению с тем, чем Руднев занимался в больнице.

Вот и кулинария, которую он взялся осваивать на старости лет, оказалась ничуть не сложна, а скорей интересна, конечно, если не быть утончённым гурманом и не делать из еды культа. Но Руднев, к счастью, всю жизнь обладал отменным аппетитом и получал наслаждение от любой, самой простецкой еды. Он даже недоумевал: зачем тратить столько сил, времени, денег и изводить столько продуктов на сооружение вычурно-сложных блюд, когда они всё равно уступают по вкусу и пользе блюдам самым простым? Ну, что может сравниться, к примеру, с селёдкой, посыпанной резаным луком и политой подсолнечным маслом? Или с рассыпчатой отварной картошкой, рядом с которой лежит горка квашеной, остро хрустящей капусты? А варёный горох или чечевица? Да и просто-напросто пахучий ломоть свежего чёрного хлеба, на который лёг тонкий пласт сала? “Нет уж, увольте меня, — думал Руднев, — от этих всех трюфелей-профитролей; я буду верен еде бедняков. Она и вкусней, и дешевле, и проще, и здоровее: а ищут изысканных вкусов пусть те, кто не понимает настоящих радостей жизни...”

Кое-какие кулинарные усовершенствования он, впрочем, допустил и в свою аскетическую кухню. Так, вкус овсянки казался ему слишком пресным и скучным, поэтому он придумал посыпать её сверху тёртым сыром, как делают итальянцы со своими спагетти. Тогда вкус унылой овсянки менялся: это было похоже на то, думал Руднев, как если невзрачную и простоватую девушку одеть в соблазнительно-смелое платье и окружить её облаком дорогого парфюма.

Тем временем сыр на горячей овсянке подтаял, и чай заварился. Сегодня Руднев решил позавтракать, стоя у подоконника: хотелось полюбоваться восходом. Тем более что он где-то читал — чего он только не прочитал за свою жизнь! — что настоящие шотландцы овсянку едят стоя: из уважения к национальному блюду. “Что ж они свой знаменитый виски пьют сидя? — подумал Руднев, ставя тёплую миску на подоконник. — Видно, овсянка им всё же важнее...”

Восточный край неба был уже не таким нежно-розовым, как недавно, а почти алым. Несколько дымчатых облачных перьев парили над трубами промзоны. “Дождусь, пока взойдёт солнце, — решил Руднев, отпив глоток терпкого чая и проглотив пару ложек овсянки. — Всё равно спешить некуда: сегодня выходной”. Он волновался перед появлением солнца, почти как когда-то в юности, ожидая девушку на свидание. Хотелось, чтобы она пришла как можно скорее, но вместе с тем мало что было прекрасней самих минут ожидания.

Тем более что солнце не могло не появиться. Над изломанным контуром дальних домов и чернеющих труб небесный пожар разгорался всё ярче. “Давай же, давай!” — торопил Руднев светило. Вот так же, случалось, он торопил рожениц — давно, ещё в том зауральском посёлке, где ему приходилось подменять запойного акушера. Тогда Рудневу тоже казалось, что его, доктора, внутреннее напряжение помогает младенцу скорее явиться на свет.

Похоже, что солнце услышало мысленный этот призыв. На горизонте сверкнула слепящая красная искра, и Руднев нетерпеливо привстал на мыски — отчего искра солнца сразу стала крупнее. Затем он присел — и алая искра исчезла за горизонтом. Улыбаясь, как малый ребёнок, Руднев повторил эти движения несколько раз, восхищённый простым доказательством своей несомненной связи с утренним солнцем.

Но секунд через десять он уж не мог так играть со светилом: над горизонтом вырос алый холм, от которого разливалось сияние, озарившее всё, что было вокруг: и контуры крыш, и вертикали заводских труб, и сияющий крест колокольни. Даже на миску с овсянкой легли розоватые блики, и Руднев подумал: “Наверное, и моё лицо стало розовым, как у младенца...” Он щурился на вырастающий солнечный диск, который уже оторвался от горизонта и всплыл в опустевшее небо, ощущая себя таким молодым и счастливым, каким ему давно не случалось бывать. Надежда на что-то хорошее, что должно непременно случиться, наполнила его душу...

5

“А тебе самому не смешно? — думал Руднев, моя посуда. — Чего тебе ждаться — что хорошего может случиться с тобой впереди? Смирись с тем, что твоя жизнь прожита — и, кстати, не так уж и плохо. Ты сделал тысячи операций: надо ещё поискать человека, который работал бы столько...”

“А толку-то? — отвечал Рудневу внутренний пессимист, всегда живший в нём. — Ты разве не знаешь, что все, кого мы лечим и оперируем, в конце концов умирают? И потом: сам-то ты что получил от прожитой жизни? Вот разве инсульт — да пенсию, на которую сможет прожить только кошка...”

“Как, то есть, что получил? — возмущался Руднев. — А сама жизнь — разве этого мало? Неужели ты жил и работал лишь для награды, чтобы кто-то похлопал тебя по плечу и сказал: “Молодец, хорошо потрудились — вот тебе, Ваня, за это конфета!” Признайся: ведь ты бы работал хирургом, если бы даже тебе ничего не платили — потому что нет ничего важнее и интереснее, чем оперировать...”

“Так-то оно вроде так, — продолжал недовольно ворчать пессимист. — Но вот есть же у многих благопристойная старость? Есть та семейная жизнь — с женой, детьми, внуками, — которая им согревает последние годы...”

“Ну, не всем же везёт, — вздыхал Руднев. — Кому-то судьба доживать одиноко, в логове старого волка...”

Сон про волка нередко и снился ему — особенно после инсульта, в те беспокойные ночи, когда резко менялась погода. Руднев видел, как угол леса, куда он забился, обносят флажками. Грязный шнур провисал меж кустами и чахлыми ёлками, серый мартовский снег усыпан хвоей и ветками, а на шнуре болтались красные тряпки. Не то, чтобы он, старый волк, боялся этих флажков, но они ему были противны, будили в душе нехорошие воспоминания, и не хотелось без крайней нужды выбегать на их красный и отвратительно пахнущий ряд. Но лай собак и крики загонщиков приближались — и волк, затаившийся под корневым буреломным выворотнем, поднимался на старые, иссечённые настом лапы (болели колени) и вперевалку трусил по ноздреватому снегу навстречу болтавшимся на шнуре красным тряпкам. Просыпался же Руднев обычно тогда, когда волк грузно прыгал — и раскаты выстрела, прозвучавшего за деревьями, превращались в назойливый стрёкот будильника...

Впрочем, так одиноко он жил не всегда. Когда-то была у него и семья — жена, дочь Марина и даже собака, — но всё чаще казалось, что это было не с ним: чтобы вспомнить семейное прошлое, Рудневу приходилось сделать над собой усилие. Его жена, миловидная блондинка, в молодости напоминала тех белокурых принцесс или фей — в кружевных платицах, розовых бантиках и с голубыми глазами, — которых рисуют в иллюстрациях к детским сказкам. Жена родила Рудневу дочь, чудесную резвую девочку, на которую, когда он изредка гулял с ней, неизменно оборачивались и умилялись прохожие.

“И вот куда это всё подевалось? — недоумевал Руднев. — Я не успел оглянуться, как белокурая фея состарилась, превратилась в сварливую и несносную бабу, а дочка из ангела стала рослой красавицей, на полголовы выше меня — такую уже не подхватишь на руки, как бывало, — и вышла замуж за важного немца, который увёз её в Кёльн...”

Там, в Германии, появилась и внучка Кристина, которую Руднев видел только на фотографиях. Съездить в гости всё как-то не получалось — мешало то одно, то другое, — а вот жена побывала там несколько раз. И после этих поездок в семейных скандалах появились новые темы: он, Руднев, был виноват уж не только в своём эгоизме и грубости, но и в том, что немецкие их свояки живут много богаче.

— Представляешь, — говорила жена, округляя глаза, теперь совершенно бесцветные и как будто слепые, — там у каждого члена семьи по машине!

— Ну и что? — пожимал Руднев плечами. — Я вот и без машины прекрасно живу.

— Потому что ты думаешь только о девках! И о своей хирургии! — заводила жена неизменную песню, которую Руднев выслушивал уже много лет. — А на жену тебе, как всегда, наплевать! Вот почему у всех муж как муж, а у меня — чёрт знает что?

В итоге всё кончилось тем, к чему шло давно: разводом, разменом квартиры и отъездом жены за границу. “Вот и прекрасно: будет там нянчить внучку да разъезжать на машине, — думал Руднев. — А я хоть на старости лет отдохну от бесконечных попрёков и оскорблений...”

Первые месяцы после развода Руднев жил с таким чувством освобождения и облегчения, какое испытывает больной, которому вскрыли мучительный и давно созревший нарыв. Улыбка почти не сходила с его лица, словно он каждый день выигрывал большой куш в лотерею и сам не верил такой несказанной удаче. “Каждый день без жены, — думал он, наслаждаясь покоем и одиночеством, — это счастье...”

Но внешне жизнь Руднева после развода переменилась не так уж и сильно. Он по-прежнему проводил дни в больнице, — а дежурить стал даже чаще, чем раньше, — всё так же порой выпивал в ординаторской рюмку-другую с коллегами после рабочего дня и всё так же по вечерам бегал кроссы, знакомясь с дорогами, тропами и пустырями окраины, где теперь жил.

Вот, правда, инсульт, что случился два года назад, сильно его подкосил. Начинаясь тот день, как обычно, разве что непривычно ломило затылок, и по спине время от времени пробегала дрожь неприятных мурашек. Но Руднев и не думал отменять операцию — потакать слабостям собственного организма было не в его правилах, — тем более, что пациент очень просил, чтобы его оперировал именно он.

Таких трудных резекций желудка в его практике давно не случалось: Руднев провозился три с половиной часа. Весь верхний этаж живота оказался так замурован спайками, что приходилось рассекать ткани почти наугад, каждый миг ожидая, что из раны вот-вот выпрыгнет струя крови или что инструмент провалится в орган или проток, повреждать который нельзя. От напряжения у хирурга ныл не только затылок, но разболелась и вся голова, а пот заливал глаза так, словно он не стоял, склонясь над больным, а бежал под палящим солнцем. Но худо-бедно удалось выделить и желудок, и начальный отдел двенадцатиперстной кишки. Накладывать анастомозы Руднев умел и любил, тем более что за этим этапом работы уже маячил конец операции. Ему оставалось всего два-три шва, но свет лампы в глазах Руднева неожиданно стал потухать, а пальцы словно распухли и сделались непослушными, так что он никак не мог ухватить ими тонкую лигатуру. “Что за чертовщина?” — раздражённо подумал хирург и уже хотел крикнуть, чтобы наладить свет, как вдруг рана раздвинулась и превратилась в красную пропасть, в которую Руднев стал стремительно падать...

Очнулся он в реанимации. Было странно и непривычно видеть над собой стойку капельницы со стеклянным флаконом и чувствовать, что его руки прихвачены к раме кровати тряпичными лентами. Но ещё больше он изумился, когда к нему подошла молодая грудастая медсестра, одним махом откинула простыню с обнажённого Руднева и бесцеремонно взяла его член рукой в синей перчатке. Уж этого Руднев никак не мог вынести и захрипел:

— Ты что делаешь?

— Быстро вы, доктор, заговорили, — улыбнулась сестра. — А мне приказали вам катетер поставить.

— Какой ещё, на хрен, к-катетер? — чуть заикавшийся Руднев аж выгнулся от возмущения. — Дай утку, я сам отолью! Знаю я ваши катетеры: п-потом всю жизнь будешь сеать — и плакать...

Рядом громко захохотали. Скосив глаза, Руднев увидел доктора Серебрякова: тот вытирал заслезившиеся от смеха глаза.

— Ай да Михальч! — всё не мог он успокоиться. — Стоило за хер подёргать — так он и очнулся... Вот это я понимаю — мужик!

Руднев и сам был готов засмеяться от радости, что опять говорит. Только вот голова ещё сильно болела, а в глазах всё двоилось и расплывалось.

— Ну как ты, дружище? — наклонился над ним Серебряков и оттянул Рудневу веки, рассматривая зрачки.

— К-кажется, — Руднев всё ещё заикался, — что меня п-по голове бревном огрели...

— А это ты, когда падал в операционной, о край стола головой треснул-ся, — охотно объяснил Серебряков. — Так что у тебя и инсульт, и сотрясение разом.

— А как та операция? — вспомнил Руднев. — Я там в животе ничего не порвал?

— Не волнуйся, ребята зашили...

Лечили его, как родного, и сеанс тромболизиса провели как раз вовремя. Уже дней через пять он не чувствовал никаких очевидных последствий инсульта — не считая того, что он стал много задумчивее, чем прежде.

Да и было о чём призадуматься: после того, что случилось, оставаться в большой хирургии было нельзя. Инсулт мог повториться, и последствия могли оказаться куда тяжелее как для него самого, так и для пациентов.

Выход оставался только один: поликлиника. И если после развода с женой Руднев себя ощущал счастливым и помолодевшим, то после разлуки с больницей затосковал. Шутка ли: тридцать три года провести в палатах, перевязочных и операционных больницы “скорой помощи” — на медицинской, можно сказать, передовой, в самой гуще кровавых боёв — и вдруг очутиться в глубоком тылу. Сам вид поликлинического коридора с тихо гундящими и будто нахохлившимися старушками, которые оживлялись только тогда, когда кто-то пытался проникнуть к врачу без очереди, а старухи возмущались, кричали и чуть ли не били наглеца костылями, — само это зрелище жалкой и мелочной человеческой немощи вызывало уныние. “Это, Ваня, тебе не прежние хирургические коридоры, — с тоской вздыхал Руднев, — Помнишь, как там день и ночь гремели каталки и стучали каблуки медсестёр? Там была жизнь — хоть и рядом со смертью, — а здесь, в поликлинике, и не жизнь, и не смерть, а какие-то вялые сумерки...”

Но что делать? Работать хоть где-нибудь необходимо, и он понемногу привык к бестолковой, на взгляд хирурга, какой-то сонной и суетной одновременно атмосфере окраинной городской поликлиники. “В конце концов, я продолжаю семейное дело, — думал Руднев, отсиживая приём за приёмом и бесконечно ощупывая старушечьи хрустящие от артроза коленки. — Ведь моя матушка — царство ей небесное! — всю жизнь проработала в поликлинике участковым врачом-педиатром. Вот каково было ей: одной, без мужа, растить такого оболтуса, как я, и при этом с утра и до ночи то бегать по вызовам, то осматривать на приёме хныкавших деток и успокаивать их перепуганных и бестолковых мамаш? Это куда тяжелее, чем мне со старушками. Старушку прибрал Бог — да и ладно: родственники только облегчённо вздохнут. А с младенцем не дай Бог ошибиться и что-то сделать не так: и совесть замучает, и по судам затаскают. Нет, моя мать была святой женщиной; стыдно, что я только сейчас это понял...”

Вспоминая время от времени мать, он теперь с куда большим уважением относился к измученным участковым врачам. Этих, как правило, пожилых женщин он почти безошибочно узнавал даже среди прохожих на улице: по тяжёлой походке, по сумкам, набитым медицинскими картами и тонометрами — и главное — по привычно измученным и озабоченным выражениям лиц. “Я-то думал, что главные труженики — это орлы-хирурги, — сочувственно провожал Руднев глазами очередную из таких заморенных тёток, выходящую из дверей поликлиники. — Но главные труженицы всё же они, вот эти рабочие и незаметные ослики медицины...”

7

Так что к поликлинике он мало-помалу привык — как привык и к холостяцкой квартире, похожей то ли на келью монаха, то ли на воинскую казарму: ничего лишнего, всё голо и просто, и на всём отпечатался трудный характер мужчины, жившего словно наперекор самому же себе. Помнится, ещё бабка ему говорила: “Какой-то ты, Вань, поперечный — всё норовишь делать по-своему! Тяжко, хлопчик, тебе будет в жизни...”

И теперь, почти прожив эту самую жизнь, он вполне соглашался со своей мудрой бабкой: приходилось ему ещё как тяжело. Причём не столько из-за внешних условий или капризов судьбы — в целом жизнь Руднева протекала обычно и даже благополучно, — а из-за постоянной потребности преодолеть себя самого. Он всегда чувствовал, что обрести и сохранить себя можно, лишь не жалея себя; и это парадоксальное правило прочно вошло в его душу. Так было и в детстве, когда он пускался в рискованные авантюры, грозившие не только синяками и ссадинами или порванными штанами, но и кое-чем посерьёзнее; так было и в годы спортивной юности, когда он так изнурял себя на тренировках, что даже их строгий тренер ему говорил: “Руднев, ты что, хочешь загнать себя насмерть? Полегче, Ваня, полегче...”

Так было и позже, когда он работал хирургом и дежурил столь часто, что и ему самому, и коллегам казалось: он в больнице живёт, то надолго склонившись над столом в операционной, то спускаясь в приёмное отделение, то на пару часов ложась на диван в ординаторской, чтобы вскоре встать и снова идти оперировать.

Только инсульт, переход в поликлинику и размеренно-одинокая жизнь немного смягчили его беспощадное отношение к самому себе. То ли сил у него стало меньше, то ли он осознал, что та жизнь, какую он мог и хотел прожить, — жизнь спортсмена, хирурга, мужчины — уже в основном позади, и задача осталась одна: не испортить финала.

Но вот странное дело: как только он сам, постаревший, уже почти был готов оставить свои тело и душу в покое и встретить старость в ином, прирешённом с собой состоянии, в окружающем Руднева мире стало явно что-то меняться. Или просто он сам, получивший больше свободного времени, чаще садился к компьютеру, полюбил читать новости, думать о них, и то, что происходило в мире, стало больше интересовать и тревожить его?

О коронавирусе он впервые узнал в январе, вскоре после того, как китайские медики объявили о вспышке новой болезни. Эта новость какое-то время не выбивалась из общего ряда — мало ли есть на свете болезней, да ещё у китайцев, во всех смыслах слова далёких от нас? — но уже очень скоро едва ли не каждая из новостных сводок начиналась со слова “коронавирус”. В марте китайскую эпидемию возвысили в ранг пандемии: её волны накрыли сначала Италию, а потом и остальную Европу.

Вот о старушке-Европе Руднев волновался уже куда больше, чем о далёком и чуждом Китае. Ведь в Германии жили его дочь и внучка; да и о бывшей жене он порой вспоминал с беспокойством: пожилые, судя по многочисленным сообщениям, болели куда тяжелее.

Пандемия ширилась, как лавина, не замечая ни границ государств, ни усилий задержать её распространение. Особенно жутко было читать итальянские новости: о том, как ночами разъезжали армейские грузовики, набитые трупами, как в больницах не хватало мест и дыхательных аппаратов и как родственникам не позволяли ни навестить умирающих, ни попрощаться с погибшими. Руднев жадно, с тревогой и любопытством просматривал эти сводки — и ему всё чаще приходило на ум сравнение с чумными эпидемиями Средневековья. Он теперь читал вперемежку то самые свежие новости о распространении коронавируса, то искал сведения о флорентийской или венецианской чуме далёкого XIV века.

То, что он освежал в памяти или узнавал вновь, вызывало в нём множество разных, порою противоречивых мыслей и чувств. Картины чумных городов, заваленных смердящими трупами, оживали в его воображении; чад серных жаровен словно проникал в его ноздри, а до ушей доносился и бред умирающих, и стенанья живых, и скрип деревянных колёс труповозок. Читать об этом Рудневу было и жутковато — и, как врачу, интересно. Он представлял себе ужас, растерянность и недоумение, которые охватывали людей, столкнувшихся с “чёрной смертью”. Одно дело — враг, которого ты можешь видеть, можешь сразиться с ним или, на худой конец, убежать; а вот как быть с врагом, который невидим, которого как бы вовсе и нет, но который наступает и поражает всех беспощадно и неудержимо, и превращает в кладбища целые города? “Где тот, кто нас убивает? — цепenea от ужаса, думали люди. — В воде, пище, воздухе? Или смерть гнездится внутри нас самих? Но тогда от неё вообще нет спасения — ибо для нас не существует страшнее врага, чем мы сами...”

Руднев с гордостью, словно в этом была и его собственная заслуга, читал и о том, как пылливый ум наблюдательных лекарей Средневековья уже тогда распознал инфекционный характер чумы, и те меры, что принимались против “чёрной смерти”, скажем, в Венеции — их одобрили бы и современные доктора. Изолировать заболевших, окуривать их жилища серой, поглубже закапывать трупы, пересылая их известью, и носить маски с длинными клювами, выполнявшими роль респираторов, очищающих заражённый воздух, — всё делалось, как по учебнику инфекционных болезней. “Им бы

ещё, — сочувственно думал Руднев о средневековых коллегах, — наши антибиотики и антисептики... А без них — представляю, сколько в те эпидемии полегло докторов...” Врачей ему было жалче всего: и по чувству профессиональной солидарности с ними, и потому, что врачам было некуда деться. Хочешь не хочешь, а иди к умирающим, чтобы они поделились с тобой своей смертью.

8

По мере того, как волна пандемии приближалась к России и к городу, где жил Руднев, им всё сильнее овладевало предчувствие неизбежных и скорых перемен в его собственной жизни. Он воспринимал это как неожиданный ветер, поначалу еле заметный, но всё более ощутимый. Неизвестно, какие новости и перемены ветер должен принести, но в том, что жизнь Руднева уже не останется прежней, сомневаться было нельзя.

А о новой китайской инфекции доктор размышлял теперь так неотступно, словно вирус, пока поразивший одну лишь столицу и ещё не пришедший в провинцию, уже поселился в его голове и заставлял мозг думать в единственном направлении. “Что же это за штука такая — коронавирус? — думал Руднев и днём, среди бытовых мелких дел, и ночью во время бессонницы. — И почему он настолько по-разному действует на разных людей?” Сколько можно было судить по той информации, что заполонила всемирную Сеть, кто-то вовсе не замечал, что он инфицирован, кто-то отделивался лёгким недомоганием, а кто-то, подхватив тот же самый коронавирус, погибал в муках удущья. Таких инфекций и впрямь прежде не наблюдалось, когда и клинические проявления, и исход всей болезни зависели не столько от вируса как такового, сколько от человека, который им поражён. Можно подумать, что вирус — это наш собственный выбор: болеть — или нет, умереть — или жить?

Вирус — он что? Всего лишь клубок из белковых молекул, облепивший фрагмент нуклеиновой кислоты. Пока он находится вне наших клеток, его даже нельзя считать вполне живым существом. Из четырёх главных признаков живого — способности к росту, движению, размножению и обмену веществ — у вируса нет ни одного! И только когда он проникает внутрь наших клеток, когда мы принимаем его за своего и начинаем сами, за счёт своих сил, ресурсов и собственной жизни воспроизводить эту смесь нуклеиновой кислоты и белка — вот тогда он становится жив, агрессивен и уже представляет угрозу для того, кто его приютил... Но ведь это же значит, что вируса, можно сказать, и не существует до тех самых пор, пока человек не признает его существующим. Вирус — как флешка с чужой информацией, которую мы, по доверчивости или недосмотру, подключили к собственной информационной системе. Недаром программные сбои компьютеров тоже называются вирусами. И недаром так много людей во всём мире, несмотря на тысячи смертей, сомневаются в существовании коронавируса. И нельзя ведь сказать, что все эти коронадиссиденты так уж глупы или недоверчивы, что их не убеждают очевидные факты. Просто, может быть, они понимают, что зло — вроде этого злобного вируса — не существует само по себе, а способно лишь паразитировать на чьей-либо жизни?..

Но существует он или нет, шуму коронавирусу наделал большого. Вот уже и мимо рудневских окон стали всё чаще проезжать “скорые”, иногда включая сирены с мигалками, когда, как он понимал, их бригады спешили доставить очередного задыхавшегося больного в реанимацию. К тому же инфекционная больница располагалась неподалёку от нового жилья Руднева, поэтому вой и мигание “скорых” сделали неотвязным и чуть ли не круглосуточным фоном всей его жизни. И всякий раз, как под окнами бегло мигал красный свет или слышалось подвывание сирены, чудилось, что его будто кто-то окликает из темноты. Этот зов темноты, конечно, тревожил, но в ответ поднималась такая волна возбуждения и желания что-нибудь делать, что Руднев был чуть ли не рад той угрозе, которая заставляла его ощутить прилив жизненных сил. “Выходит, не так уж я стар и бессилён, раз

вся эта история с пандемией может настолько меня волновать”, — думал он.

Это чем-то напоминало деревенское детство, когда его уже поздним вечером с улицы свистом звали приятели: “Вань, айда по садам!” Он подбежал к окну, всматриваясь в темноту и сознавая, что если он не откликнется и не выйдет на зов, на него ляжет пятно позора. Дело даже не в том, что друзья обвинили бы его в трусости — небось, сами-то они могли сколько угодно и без угрызания совести отказываться от рискованных затей, — сколько в том, что Иван не умел простить малодушия самому себе.

Вот и сейчас темнота, по которой время от времени проносились красные огни “скорых” и слышалось подвывание сирен, — она словно его окликала: “Вань, айда по садам!” Правда, таких красных яблочек, как в те августовские ночи, ему уже не добыть и не рухнуть сквозь крону яблони с таким треском, когда разъярённый хозяин в одних сапогах и семейных трусах, матерясь на чём свет стоит, обшаривал дерево лучом фонаря. И как он тогда увернулся от жилистой цепкой руки — да ещё и сумел проскочить мимо будки цепной, разъярённо хрипевшей собаки? Вот тогда-то он, видно, и обнаружил способности к бегу: почти не касаясь земли, Иван летел сквозь кромешную ночь, ощущая, как яблоки трутся одно о другое за пазухой.

Зато он стал настоящим героем, когда раздавал приятелям такие огромные, красные, сочные яблоки, каких не видел ни до, ни после. Иван кусал их сладчайшую жёлтую мякоть, сознавая, что в эту тревожную ночь он впервые стал человеком, способным преодолеть самого себя. Да, он преодолел себя и тогда, когда выбирался в ночное окно, отозвавшись на посвист друзей, и тогда, когда перелезал через ограду, а потом карабкался по шершавым сукам старой яблони, и когда прыгал вниз, чуть ли не на лысую голову исходящего злобой хозяина, и когда, наконец, бежал с такой скоростью, что ему в самом деле казалось: он вот-вот вырвется из своей задыхавшейся, тесной, оставшейся позади оболочки и продолжит бесплотный полёт сквозь звенящую от напряжения ночь...

9

Решение идти добровольцем в красную зону Руднев даже не принимал, а оно так естественно вызрело в нём, что он оказался перед уже состоявшимся внутренним выбором, как перед свершившимся фактом. Оставалось лишь успокоить собственный разум, предложив ему более-менее резонные аргументы, чтобы не выглядеть перед собой уж совсем идиотом.

“Ну, что я буду торчать в поликлинике, которую вообще могут скоро закрыть? — вёл он привычный внутренний диалог. — А в изоляции, дома — я просто свихнусь от безделья...”

“Ладно-ладно, не нагнетай, — возражал он себе самому, глядя на город, горящий огнями в живой, как бы тоже взволнованной, тьме. — Вот тебе книги, вот интернет, из которого ты не вылезешь часами. Да твой домашний арест может быть просто раем! И потом, кто тебе мешает время от времени выбираться из дома, чтобы побегать где-нибудь на окраине? Кто тебя будет ловить — кому ты вообще нужен?”

“Это верно, — соглашался Руднев. — Правду сказать, я не очень-то нужен и себе самому. И это ещё один плюс: ведь я ничего не теряю, если даже и подхвачу этот самый коронавирус. Ну, помучаюсь — даже, может, помру — эка невидаль! Жизнь я прожил, и прожил очень даже неплохо, а впереди меня ждёт мало хорошего ...”

Он видел, что в дни пандемии всё человечество разделилось на две неравные части: медики — и остальные. И если последние должны были только прятаться по своим жилищам, не показывая носа наружу, да непрерывно бояться за себя и близких, то медикам приходилось, хочешь не хочешь, идти в красную зону: навстречу, быть может, собственной смерти. “Так что же я буду отсиживаться в своей норе, — думал Руднев, — пока наши ребята там зашиваются? (Под словами “наши ребята” он понимал как-то сразу всех медиков мира.) Нет уж, фигушки: уж если война — надо вместе со всеми своими идти на войну...”

До этого времени войны щадили его. От призыва в Афган Ивана спас институт — тогда медиков в армию не забирали, а возможность стать военным хирургом, в этот раз на Донбассе, у него отобрал инсульт. Не случись его, Руднев вполне мог бы отправиться добровольцем в горячую точку, где он, возможно, пригодился бы больше, чем на гражданке. Хотя, с другой стороны, и его тридцать три года работы в “скоромощной” больнице тоже были войной, и крови он видел не меньше, чем мог бы увидеть в окопах.

“Да, в эти дни надо быть там, где воюют свои, — думал Руднев. — А иначе я получаюсь каким-то пассивным пособником вируса...” Его не смущало то, что о солидарности и о “своих” рассуждает пожилой доктор-пенсционер, который напоминал сам себе одинокого старого волка, окружённого линией красных флажков.

Красная зона и представлялась ему чем-то вроде тех самых загонных флажков. Это было нечто запретное, то, куда вход был заказан огромному большинству людей — и одно приближение к чему наполняло многих паническим ужасом, — но оттуда, из красной зоны, на Руднева веяло ветром жестокой, пусть даже смертельно опасной свободы. “Может, свободы-то я и ищу? — размышлял он. — Свободы от старости, от одиночества, а в конце концов — свободы от жизни и от себя самого...”

В решении Руднева был и ещё один, глубоко личный мотив. Он сознавал, что боится той вероятной мучительной смерти, которой ему угрожала зловещая красная зона. А уж этого он не мог терпеть совершенно: когда Руднев чувствовал, что в нём зарождается страх — в душе тут же вскипала ответная яростная волна.

Ещё в подростковые годы эти накаты ярости нередко заставляли его пускаться в ход кулаки. Если соперник был равных с ним сил, он обычно после двух-трёх ударов пускался бежать, не желая больше связываться с “этим придурком”, как порой называли Ивана. Если же соперник оказывался сильнее и старше, — а Руднев нередко кидался и на таких, — то он старался быстрее сбить с ног этого задиристого пацана, пока драка не принимала уж слишком кровавый и беспощадный характер. А Иван, лёжа щекой на шершавом асфальте или пыльной земле, порою испытывал странную гордость: ведь главное, что он сам не струсил, не показал слабину, а это много важнее, чем одержать в драке победу.

Потом в его жизнь вошёл спорт, и сраженья с самим собой переместились с улиц, дворов, подворотен в спортзалы и на стадионы. Но общий характер борьбы оставался всё тем же: важнее всего — и сложнее всего — победить не соперников, а себя самого.

10

Но если собственное решение идти в красную зону Руднев принял без особых сомнений и колебаний, то оставались внешние, юридические и медицинские препятствия его нахождению в зоне инфекционной опасности.

Во-первых, он уже пенсионер. А с момента, когда в городе объявили режим всеобщей самоизоляции, пенсионеров предписывалось не то, чтобы не принимать на работу в рискованные места, но разгонять по домам и больничным листам оттуда, где они работали прежде. Правда, пенсионер Руднев ещё молодой (стаж хирурга шёл год за полтора): полных лет ему всего-то пятьдесят семь. Так что до возрастного лимита, обрекавшего на безвылазное сидение дома, ему ещё надо дожить.

Другое препятствие серьёзное: инсульт, что он перенёс два года назад. Кто взял бы ответственность подписывать ему допуск к работе, чтобы потом нести цветы Рудневу, героически павшему при исполнении долга, на гражданскую или церковную панихиду?

“Как же мне их убедить?” — думал он, собираясь наведаться в отдел кадров родной больницы — той, где он проработал почти всю жизнь и в которой неделю назад развернули инфекционное отделение. Он шагал по опустевшим улицам города — прохожих почти не встречалось, а те, кто всё же решился высунуть нос из квартир, так сутулились и торопились, словно их

поливал дождь, — он шагал, репетируя предстоящий ему разговор. “Что вас смущает? — говорил он воображаемой кадровичке. — Мне всего пятьдесят семь лет — до старости ещё далеко. Здоровье? А что здоровье? Дайте мне кого-нибудь из молодёжи, и мы с ним пробежим или проплывём: кто будет быстрее — тот и здоровее...”

Тут он, конечно, хватил лишку: от былых спортивных возможностей в нём осталось не так уж и много. Но для своих лет он был вынослив и крепок: зарядки и кроссы помогали ему сохраниться. “Так что, милая барышня, в моём здоровье даже не сомневайтесь”, — продолжал он мысленно убеждать кадровичку, которая в его воображении, чем ближе он подходил к больнице, тем делалась привлекательней.

Но всё оказалось гораздо серьёзней и проще, и Рудневу не пришлось разыгрывать роль молодящегося бодрячка. Уже на подходе к больнице его обогнали две “скорые”, одна из которых катила с мигалкой и жалобно вскрикивавшей сиреной. А в больничном дворе, за полосатыми красно-белыми лентами и чёрно-жёлтыми паучьими знаками “биологическая опасность” он увидел целый затор из автомобилей, каталок с больными и людей в белых защитных комбинезонах. Эти “скафандры” Руднев впервые видел не на экране, а наяву, и даже замедлил шаг, чтобы получше их рассмотреть сквозь прутья ограды.

Он видел, что там, в больничном дворе, иной мир, разительно отличающийся от пустынного, сонно-оцепенелого мира городских улиц. “Какие-то инопланетяне,” — думал Руднев о людях в белых комбинезонах, у которых не было видно ни лиц, ни фигур и которые с чуть комической и неуклюжей поспешностью вытаскивали из “скоропомощных” “УАЗов” носилки с больными, разворачивали их в столпотворении людей и машин и завозили в двери приёмного отделения — двери, столь знакомые Рудневу по его прежней жизни.

Мир, куда он входил, был привычен до боли, до мелочей, до обшарпанных лавок и урн возле входа в больницу — и, вместе с тем, он казался диковинным и пока непонятным. Чудилось, что он смотрит фильм-катастрофу; и, сказать откровенно, снят этот фильм бездарно, неряшливо и недостоверно. Всё как-то уж слишком обыденно: лужи, грязь на колёсах машин, скрип каталок и ругань шофёров, серые лица больных на носилках... Этой обыденности недоставало ни громких звуков, ни ярких красок, ни пафосных жестов, — словом, недоставало театральных эффектов трагедии. Но уж Руднев-то знал, что такая унылая серость и заурядность происходящего как раз и является признаком настоящей беды.

В корпусе администрации царила неразбериха. По коридорам сновали люди с выражениями лиц решительными и растерянными одновременно. Странно, что Руднев не встретил знакомых, хотя он ушёл из больницы не так уж давно. “Видимо, все, кого я знаю, — догадался он, — уже воюют там, в красной зоне, а здесь остались одни писаря...”

В отделе кадров он тоже не знал никого. Четыре молодые женщины непрерывно разговаривали по телефонам, одновременно шаря свободными пальцами по клавиатуре компьютеров и напряжённо глядя в экраны. Если бы Руднев не заговорил, его бы и не заметили: до того все были заняты.

— Девушки! — сказал он так громко, что ближняя девушка вздрогнула и обернулась. — Вам доктора не нужны?

— Ой, ещё как! — девушка просияла, мгновенно из озабоченно-хмурой сделавшись симпатичной. — У нас ужас, что делается! Не можем дежурства закрыть, врачи с ног валяются...

— Ну, а какие специалисты вам больше нужны? Я, например, хирург.

— Нам всё равно: был бы доктор с дипломом.

— Так что, я могу писать заявление?

— Конечно, пишите! Завтра сможете выйти на смену?

— Пожалуй, смогу. — Руднев был даже разочарован той простотой и скоростью, с какой решался вопрос о его трудоустройстве.

— Замечательно! Я начмеду скажу — он поставит вас в график...

Ни медкнижки, ни справки от невролога и терапевта никто у него даже не спросил; и это был ещё один явный признак того, что дела начинались

серьёзные. Правда, ему пришлось съездить в два места — в неврологический диспансер и в психиатрическую больницу, — потому что без справок оттуда даже в дни пандемии никто медиков на работу не принимал. И ещё он зашёл в свою поликлинику, чтобы написать заявление на месячный отпуск.

На этом формальности были улажены, и ничто больше не отделяло Руднева от красной зоны.

II

“Ну и рожа...” — подумал он, увидев в зеркале своё старое, волчье лицо. Впрочем, сейчас ему было не до того, чтобы подробно разглядывать своё отражение. В том же зеркальном овале поочерёдно возникали и пропадали другие, молодые и свежие лица, — в основном, женские, — и в этом живом мелькании лиц ему, старику, было явно не место. Руднев, чтобы не мешать, отошёл — ему уважительно уступили кушетку — и, уже сидя, стал наблюдать, как медицинская молодёжь, заступая на смену, облачается в средства защиты.

Людей в раздевалке набилось полным-полно; и все они были так радостно оживлены, словно им предстояло не шесть часов напряжённой работы, а шесть часов развлечения. “Что значит молодость!” — вздохнул Руднев. Он теперь мог позволить себе роль стороннего наблюдателя, прежде ему почти недоступную. Вот как он раньше, к примеру, смотрел на женщин? Они для него были объектом либо хирургического, либо эротического интереса; рядом с любой он легко представлял и себя самого в роли спасителя-доктора или героя-любownika. А раздеть женщину мысленно или реально ему, доктору, не составляло труда. Десятки лет перед ним, по одному его слову, с торопливой готовностью раздевались сотни женщин. Стоило лишь посмотреть на иную — как её руки сами тянулись к пуговкам блузки, а потом привычно заводились за спину, нашаривая застёжки бюстгальтера. Рудневу, впрочем, нравилась и мысленная игра в раздевание, в которую так любят играть мужчины. И та, что стояла или сидела перед ним, часто вовсе не подозревала (или, напротив, прекрасно осознавала и чувствовала?), что платье не защищает её от упорного взгляда врача, уже пожилого, но с очень живыми и молодыми глазами.

С годами Рудневу всё более нравилось предаваться воображаемым связям, чем снова и снова, как при беге по бесконечному стадионному кругу, погружаться в суету и мороку реальных так называемых “отношений”. Всё равно, думал Руднев, оглядывая очередную красавицу, не будет ничего лучше вот этих первоначальных минут любования с представлением о том, как вот эта, к примеру, худая брюнетка, оставшись в чём мать родила, станет словно полней, чем казалась в одежде; а вот эта блондинка с фигурой, почти идеальной на вид, сбросив платье, расцветёт той телесной избыточной пышностью, которую так любили изображать старые фламандские мастера.

Но сейчас, сидя в раздевалке санпропускника, Руднев любовался процессом прямо противоположным: полтора десятка молодых, оживлённо болтающих женщин не раздевались, а одевались перед ним. Вот только что большинство были в шортах или лосинах, цветастых футболках — той откровенной летней одежде, в которой уместнее было бы вышагивать по курортному променаду. Но женщины разворачивали белые комбинезоны, вдевали ноги и руки в их просторные штанины и рукава, скрываясь в шуршании этих странных одежд. А когда капюшон надвигался на голову, стопы погружались в бахилы, а руки вставлялись в перчатки, тогда и подавно медсёстры скрывались внутри шелестящего облака, превращавшего всех, только что таких разных, в почти одинаковых. Затем и последнее, что оставалось, — лицо — закрывали очки с респиратором, и вокруг Руднева расхаживали уже не молодые фигуристые красотки, а плавно шуршали какие-то почти бесплотные белые ангелы. “Можно подумать, — озирался он, отчего-то волнуясь, — что я уж вознёсся на небеса...”

— Как вы, Иван Михайлович? Не заскучали? — послышался знакомый, заботливый голос.

Его окликала Галина, старшая медсестра оперблока, с которой Руднев много лет проработал вместе. Весёлую и добродушную эту толстуху, в дни пандемии назначенную старшей сестрой инфекционного отделения, все называли здесь “мама Галя”, и она принялась опекать и напутствовать доктора, впервые входящего в красную зону.

12

Когда Галина улыбочивой двадцатилетнею девушкой впервые пришла в эту больницу и стала операционной сестрой, молодым был и доктор Руднев. И как было ей не влюбиться в него, стоя с ним рядом и ночи, и дни, видя его то в поту, то в крови — и замечая, как он год от года оперирует лучше и лучше?

Вне операционной они виделись редко, — а вне больницы, так и вообще не встречались, — зато под сияющим диском хирургической лампы провели рядом целую жизнь. Галина стала для хирурга вот именно, что боевою подругой — ни с кем он так не любил мыться на операции, как с этой спокойною, доброй и полной хохлушкой, хотя за многие годы работы меж ними так и не случилось близости, кроме той, что всегда возникает между долго и слаженно работающими людьми, которые понимают друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда.

Вот глазами-то в основном они и общались. Что ещё, кроме взгляда над маской, да ещё рук, в начале работы влажных от антисептика, а в конце операции красных от крови, замечает сестра у азартно работающего хирурга? Галине ничего больше и не было нужно, кроме быстрого взгляда Ивана Михайловича — она обращалась к нему только так, — потому что по выражению глаз она безошибочно определяла, что нужно доктору именно в эту минуту. И вот удивительно: хоть лицо и тело Руднева, конечно, старели — ещё бы не постареть за тридцать с лишним лет изнурительной и напряжённой работы! — но время нисколько не тронуло ни его глаз, ни рук. Напротив, глаза и руки любимого доктора казались Галине с каждым годом моложе. Особенно когда Руднев годам к пятидесяти стал на операциях пользоваться очками, и жизнь его глаз, увеличенных стёклами, стала куда выразительней.

А руки? Галина по долгому опыту знала, что руки хирургов почти не стареют, а просто становятся с каждым прожитым годом либо умнее, быстрее, уверенней и осторожнее (да, именно так: уверенней — и осторожнее), либо глупее и нерешительнее, то есть меняются с возрастом так, как меняются и сами люди. А поскольку сестра в операционной и смотрит в основном на руки доктора, именно с ними, руками хирургов, Галина и вела мысленные беседы. Она то подбадривала их: “Давайте же, милые!” — то укоряла: “Эх вы, растяпы!” А на операциях Руднева восхищалась точностью и прототой их движений.

Хотелось ли ей, чтобы худая и нервная кисть Руднева, на костяшках которой ещё белел тальк от перчаток, легла ей на бедро или сдавила тяжёлую грудь? Конечно, хотелось. Галина нередко мечтала об этом ночами, когда время в операционной словно останавливалось, и только ритмичные вздохи наркозного аппарата создавали иллюзию жизни и в бесчувственном теле больного, и в кровавой хлюпавшей ране, и во всём засыпающем мире, но мечты оставались мечтами, а руки Руднева продолжали вязать, шить, отсекать и пальпировать — делать то, что им было привычнее всего. “Лучшие руки города”, — так про них порой и говорили, словно вовсе забывая об их хозяине и предоставляя рукам доктора Руднева право на суверенное существование.

И не то, чтобы жизнь не давала Галине возможностей утолить желания своего большого и жаркого тела — нет, у неё был и муж, а на короткое время даже завёлся любовник, о котором в больнице мало кто знал, — но

всё же, когда она мылась на операции с доктором Рудневым, она даже и в сорок лет волновалась, как юная девушка перед свиданием.

А уж когда у её любимого доктора прямо на операции случился инсульт, и Руднев рухнул на пол, едва не сбив плечом столик Галины, ей самой пришлось уйти на больничный и просидеть дома несколько дней. Она была тогда сама не своя, и даже дети не радовали и не утешали её. Как она плакала, как убивалась, но и как зато радовалась, когда Руднев пришёл наконец-то в себя, заговорил, и его стало можно навещать в палате реанимации!

Но вместе с радостью от выздоровления Ивана Михайловича Галину ожидало и горе: Руднев ушёл из больницы, потому что работать, как прежде, он больше не мог.

— Как же так? — растерянно говорила она, когда Руднев зашёл в оперблок попрощаться. — Неужели мы с вами никогда больше не помоемся вместе?

— Как знать, Галюша? — вздыхал Руднев, обнимая её за горячие полные плечи. — Жизнь, сама знаешь, штука непредсказуемая...

13

— Ну-ка, девочки, — радостно распоряжалась Галина. — Принесите доктору новый комплект! — Через минуту она разворачивала перед Рудневым белый комбинезон с синими полосами проклеек на спине и рукавах. — Интересно, размер подойдёт? Икс-эль: вроде, ваш... Держите, Иван Михайлович! А пока одеваетесь — я вам очки обработаю.

Это были даже и не очки, а защитная пластиковая маска на широкой чёрной резинке, напоминавшая маску ныряльщика. Пока Руднев расправлял комбинезон, Галина протёрла маску спиртовой пахучей салфеткой, затем щедро капнула жидкого мыла и принялась втирать его в зеленоватый пластик.

— Чтoб не потели, — поясняла она.

За свою медицинскую жизнь Руднев одевался на операции тысячи раз, но то, что он делал сейчас, казалось ему непривычным и даже немного смешным. Когда-то, в далёком детстве мать пошила ему новогодний костюм зайчика — тоже белый комбинезон с капюшоном, — и Рудневу вспомнилось детское чувство неловкости, даже стыда: в тот момент, когда его тело погружилось внутрь просторного белого балахона и словно спряталось от самого же себя. “Опять маскарад, — ухмыльнулся он мысленно. — А вдруг после смены из комбинезона выберется тот пятилетний мальчик, каким я был когда-то?” В самом деле, казалось: когда “бегунок” молнии с шипеньем поднялся до подбородка, прежний Руднев словно исчез, а вместо него внутри шелестящего белого облака шевелился почти незнакомый ему человек.

— Вы перед тем, как перчатки надеть, надорвите манжеты и в дырки большие пальцы просуньте, — советовала Галина. — Так у вас рукава задираться не будут.

— Спасибо, Галюша! Что бы я без тебя делал?

Бахил и перчаток полагалось надеть по две пары. Когда Руднев закрыл рот и нос респиратором, а глаза поверх собственных очков ещё и защитной маской, окружающий мир враз отодвинулся от него. Очки и маска, как Галина ни колдовала над ними, всё же запотели, но снимать и протирать их уже было нельзя. Капюшон, шелестя, гасил звуки; воздух с трудом просачивался сквозь респиратор. Мгновенно оглохший, полуслепший и натужно вздыхающий Руднев ощутил себя погружённым в глубокую старость — ту, до которой дожить он, откровенно сказать, не надеялся, но с которой вдруг встретился так же внезапно, как и с воспоминанием о детсадовском маскараде. “Как-то всё перепуталось, — думал он, неуверенно шаркая к двери. — Я становлюсь то ребёнком, то совсем стариком...” Было странное чувство, что его жизнь начинается заново: с неуверенных первых шагов, первых вдохов и выдохов и с удивления перед тем непонятным и мутно-туманным, что теперь окружало его.

Облачённый в шуршащий скафандр, Руднев шаркал по коридорам больницы — одновременно и узнавая, и не узнавая места, где провёл почти всю

свою жизнь. И очки, и маска всё сильнее запотевали с каждым вдохом и выдохом, поэтому окружающий мир казался недостоверным, а вот воспоминания о той жизни, что когда-то кипела здесь, напротив, с каждой минутой становились живее. К тому же в коридорах не было пациентов — им строго предписывалось находиться в палатах, — и Руднев шагал по больнице, как по музею собственной жизни, наполняя пустынные коридоры теми лицами и голосами, что рождались в его оживившейся памяти.

Тридцать три года он отработал здесь, в этих стенах, которые видели столько боли и горя, и столько смертей, сколько не видел ни один другой дом города. Но для Руднева это было лучшее место на свете. Вне больницы он, можно сказать, и не жил: только здесь, в атмосфере азартной работы, перемежавшейся кратким отдыхом в ординаторской, в смешении лиц, голосов, стонов, смеха, в скрипе каталок и звяканье инструментов, в гуле отсосов, не успевающих осушать заплывавшие кровью раны, — только здесь, в хирургическом мире, он чувствовал, как его жизнь наполняется смыслом.

А покидая больницу, он словно терял самое важное: без хирургии всё казалось ненужным и мелочным, скучным и пресным. Но мельчал и скучнел не один только мир, окружавший его; проведя вне больницы хотя бы несколько дней, Руднев начинал ощущать, как и сам он становится мелочней, злее и даже глупее. Те проблемы собственной жизни, на которые он в запарке больничной работы не обращал внимания или легко о них забывал, начинали расти, усложняться и занимали собой почти всё свободное время и мысли. То что-то ломалось в квартире, то опять не было денег (и куда они только девались?), то жена закатывала очередную истерику, то возмущённый нижний сосед грозил подать в суд (Руднев, задремав в переполненной ванной, снова залил его), то случалась ещё какая-нибудь неприятность. Бытовуха душила его, и Руднев изнемогал под гнётом обыденно-мелких проблем, сам мельчая и портясь от этого.

Поэтому он и ждал возвращения в больницу — как ждут исцеления от неотвязной и нудной болезни. Стоило только приблизиться к серой семиэтажной громаде и пересечь двор, по которому сёстры-хозяйки толкали каталки с бельём, потом шагнуть в двери приёмного отделения, на ходу бросив сёстрам: “Привет!” — как всё в нём менялось. Он становился решительней, твёрже — и одновременно терпимее и снисходительней к окружающим. Мелкие бытовые проблемы больше не занимали ни душу, ни мысли. Все люди, которых он видел, — даже больные — казались приятны и доброжелательны, а в их глазах Руднев читал неизменное уважение к себе, доктору, — то уважение, о котором его жена даже не имела понятия. Мир стремительно делался лучше, понятней, честнее — вместе с тем, как становился лучше он сам, Иван Михайлович Руднев. И на худом, часто хмуром лице доктора появлялась улыбка, с которой он порою не расставался даже на операциях: хотя кто мог видеть её под белой марлевой маской, простроченной наискось брызгами крови?

Вот и теперь в нём что-то менялось — той порою, как он медленно шаркал бахилами, совершая свой первый обход красной зоны. Двери палат проплывали справа и слева; на них были наклеены цветные кружки: на одних дверях — красные, а на других — жёлтые. Рудневу уже объяснили, что красным цветом отмечают палаты, в которых лежат пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке. Таких красных палат было, навскидку, не более трети, — но всё равно при виде ярких кружков на дверях становилось тревожно. Как раз и один из больных, неуверенно кравшийся из туалета, заметил на двери своей палаты красный зловеющий кружок — и, закашлявшись, спросил проходившего мимо Руднева:

— Скажите, а что это значит? Красным метят палаты, где лежат смертники?

Руднев, как мог, успокоил его, но пациент, судя по страху в его бегавшем взгляде, не слишком-то верил словам. “Глупо, конечно, придумали, — думал Руднев, продолжая свой путь. — Люди и так на взводе, а их ещё красным цветом пугают...” Ещё он подумал о том, как сложна и противоречива символика красного цвета. Это цвет жертвы и подвига — и одновременно

греха и соблазна; цвет бунта, свободы — и цвет запрета. Красное знамя семьдесят лет было символом той страны, где Руднев родился и вырос и которую, как ни странно, он пережил; и красный же цвет обозначил ту запретную зону, в которой он оказался теперь. А кровь — вечный спутник хирурга? “Я только и видел, что красное, — вздыхал Руднев. — Вся моя жизнь проходила в присутствии и под воздействием красного цвета...”

14

Войдя в ординаторскую, он нечётко различил несколько белых, бесформенных и неуклюжих фигур.

— Добрый день! — произнёс Руднев, удивившись тому, как глухо звучит его голос.

Ему ответили вразнобой, но вполне дружелюбно.

— Вы, как я понимаю, Иван Михайлович Руднев? — спросил его бас, чей живот выделялся даже через комбинезон. — Наслышан, наслышан! Мне о вас говорили в самых лестных тонах. А меня зовут Валерий Фёдорович, я заведу реанимацией в этой богадельне. Будем знакомы!

Пожимать руки через четыре слоя перчаточной синей резины странно и немного смешно. Кто-то из тех, с кем здоровался Руднев, ещё помнил его; но для большинства молодых докторов он выглядел почти ископаемым, человеком из давнего прошлого.

— Значит, вы к нам на подмогу? — звонко спросила одна из белых фигур. — Вовремя: мы здесь уже с ног валимся.

— Много работы?

— Хватает. Главное, что врачей мало. Дежурить сутки через сутки — это, знаете, перебор...

— Понимаю, — кивнул Руднев.

Ему хотелось ещё поболтать с этой женщиной — судя по голосу, молодой и привлекательной, — но она обернулась к заведующему, продолжая, видимо, тот разговор, что здесь шёл ещё до появления Руднева.

— Валерий Фёдорович! — возмущалась она. — Ну, когда же нам привезут дыхательные аппараты? Я так работать уже не могу: свободный аппарат появляется, только когда кто-нибудь умирает!

— А что же ты, Оленька, предлагаешь? — разводил руками толстяк-заведующий. — Я что, из кармана тебе их достану? Дефицит аппаратов везде: вон, посмотри, что творится в Италии.

— Да что нам Италия? Нам своих людей спасти нужно!

— Оленька, милая, я же всё понимаю, — заведующий словно бы извинялся перед своей молодой и горячей сотрудницей. — Надо пока обойтись тем, что есть. Наш главврач вчера был в министерстве: там говорят, что вопрос решается...

— Решат они, эти чиновники, как же! Их бы сюда, часов на шесть в красную зону — да чтобы покойников каждый день вывозили!

Руднев искренне сочувствовал реаниматологам: непросто решать, кому из умирающих дать шанс на жизнь. Но разговор в ординаторской шёл не только о грустном. Сейчас докторов здесь было много: одни заступали на смену, другие сдавали её, — но оживлёнными были и те, и другие.

— Слыхали кашушку? — спрашивал чей-то весёлый голос.

— Про что?

— Как про что? У нас теперь тема одна...

И весельчак декламировал:

*Ни за что не дам Егору —
У него нашли “корону”!
А Ивану б я дала —
У него антителя!*

Даже серьёзный Руднев, и то засмеялся. Вот народ! Ничто его не берёт: тут, понимаешь, весь мир в панике, а они знай, хохочут! Он сидел на диване

в углу, где сживал множество раз, ожидая, пока старший дежурный смены распределит всех по рабочим местам. Здесь, в ординаторской очки и маска почти перестали запотевать — видимо, наступило некое равновесие температуры и влажности, — и Руднев теперь мог отчётливой различать глаза тех, кто смотрел на него. Как удивительно, что от всего человека, скрытого в этом защитном костюме, остаётся самое главное: взгляд. Как это там говорится: глаза — зеркало души? Вот и выходит, что здесь, в красной зоне, мы общаемся напрямую с душой человека...

А ведь так, продолжал размышлять Руднев, было далеко не всегда. Сколько лет для него важнее всего было женское тело, которое и привлекало, и восхищало, и даже пленяло его. А момент, когда он впервые попал в этот плен — и желанный, и тягостный одновременно, — припомнился Рудневу с поразительной ясностью.

15

В отрочестве любимейшим местом Ивана был овраг рядом с домом, на окраине города: но не в той унылой промзоне, где он жил ныне, а окраине тихой, зелёной и в те годы безлюдной. По дну оврага журчал чистый ручей; ольха и ракитник возле него разрослись в непролазные дебри; а по солнечным склонам, над ещё не заплывшими метинами давно миновавшей войны (воронки от бомб были так глубоки, что весной превращались в небольшие озёра, полные сизыми гроздьями лягушечей икры) — над былыми окопами и воронками вольно стояли большие берёзы, и лужайки под ними были для юного Вани истинным раем. В своё двенадцатое лето он бегал туда почти каждый день, чтобы одиноко бродить под берёзами, высматривая в траве красные ягоды земляники. Он так и запомнил с тех пор, что рай существует и что в нём есть берёзы по склонам, пятна света и тени на свежей траве, шелест ветра в листве и сладкий, с легчайшей горчинкой запах нагретых на солнце, уже переспелых до черноты земляничных раздавленных ягод. Иван бродил под берёзами, забывая о времени и обо всём вообще, переполненный счастьем существования как такового: без мыслей, воспоминаний и даже без осознания себя самого...

Но вдруг его словно ударили. Перед ним на одной из тех райских лужаек, которых здесь было полно, лежала и загорала совершенно голая женщина. В руке у неё было, кажется, красное яблоко; но Иван не успел разглядеть подробностей, потому что в ту же секунду упал: запнувшись о кочку, он рухнул в прохладу травы. Но эта прохлада несколько не освежала; лёжа, он чувствовал, как его щёки пылают, а сердце часто бьётся о землю. Растерянный, он не понимал: то ли ему сейчас плохо — то ли, наоборот, хорошо? Стараясь дышать только ртом — так дыхание было менее слышно, — он осторожно приподнял голову и посмотрел сквозь метёлки травы. Ему и хотелось увидеть женщину снова, но одновременно мелькнула и мысль: хорошо, если бы её там не оказалось. Тогда у Ивана оставался шанс возвратиться в свой солнечный рай и немного продлить детство.

Но красавица никуда не исчезла. Лёжа на животе, она с хрустом кусала красное яблоко — так, что при каждом укусе напрягалась её спина и вздрагивали рыжие волосы. Наоборот: теперь, когда мальчик жадно рассматривал её ослепительно белое тело — спина и плечи в веснушках — куда-то исчез окружающий мир. Ни солнца, ни синего неба, ни зелени, ни шелестящих берёз больше не осталось: сияли только веснушки на полных плечах, волновал глубокий прогиб поясницы, переходивший в крутой взлёт ягодниц, и ещё ноги, одна из которых лежала спокойно, а другая то и дело игриво сгибалась в колене, — длинные белые ноги, видеть которые тяжелее всего. Он не то, чтобы думал — способности думать исчезли вместе со всем окружающим, — но он понимал, что вот с этой минуты для него изменился весь мир, и он сам, Иван Руднев, обречён стать другим. Так чисто и просто, как прежде, он уже не увидит ни блеска ручья, ни колыхания берёзовых крон на ветру, ни тугих облаков в синем небе. То, что всего лишь минуту назад составляло сияющий центр безмятежного летнего

мира, оказалось мгновенно оттеснено на обочину. А центром всего — тем, без чего остальное уже не имело значения, — стала вот эта голая женщина, неторопливо кусавшая красное яблоко.

Губы Ивана пересохли, пальцы рук мелко дрожали, на лбу проступила испарина, а груди не хватало воздуха, словно сама возможность дышать отныне зависела от обнажённой красавицы. Иван не знал, как ему поступить: оставаться лежать и подглядывать дальше (это было мучительно), встать и спокойно (куда там спокойно: его трясло, как в ознобе!) пройти мимо женщины — или удариться в бегство?

А поскольку усилие бега уже не раз выручало его, он и пустился бежать напролом, через ветки кустов, вниз по склону оврага.

Он встретил самое страшное, что только можно увидеть, — голую женщину — и теперь со всех ног убегал от опасности.

Каким, интересно, взглядом — насмешливым или недоуменным — посмотрела та рыжая Ева на мальчика, что опрометью бежал от неё? “Беги, малыш, беги, — скорее всего, улыбнулась она, потянувшись и сладко прогнув поясницу. — Всё равно куда тебе от меня не убежать...”

16

Свою первую смену он дежурил в приёмном покое — там, где когда-то начинал хирургический путь. Конечно, “покоем” это место назвать можно только в насмешку: более беспокойного места в городе не существовало. И если даже — как сейчас, когда Руднев шаркающей походкой спустился на первый этаж и вошёл в двери приёмного, — здесь было тихо и пусто, то и тишина, и пустынность были обманчиво-хрупкими: в любую минуту могло начаться светопреставление.

Обстановка приёмного мало переменялась с тех пор, как он здесь работал. Те же столы — для сестры и врача, — та же кушетка за ширмой, каталка в углу и чемодан с дефибриллятором на подоконнике. Из новых предметов — лишь запасной дыхательный аппарат (Руднев вскоре узнал, что он сломан), с его шлангами, маской, “гармошкой” и циферблатами. В стёклах и мокрых после обработки панелях приборов Руднев увидел собственное отражение — смешную и неуклюжую белую куклу, — и снова ему показалось, что и он сам, и все прочие люди играют в какую-то забавную игру с переодеваниями. “Думал ли я, — усмехнулся он про себя, — что на старости лет снова буду, как в детском саду, участвовать в маскараде?”

Помимо него, здесь находилась ещё одна белая “кукла”: она сидела за столом медсестры, и её пальцы сноровисто перебирали клавиатуру компьютера.

— Привет! — поздоровался Руднев. — Тебя как звать?

— Добрый день! — отозвалась сестра. — Я Камилла.

— Красивое имя...

— Да я и сама ничего! — засмеялась она.

— А вот об этом, — развёл Руднев руками, — я могу только догадываться!

Общий смех сразу их сблизил. “Надо же, — удивлялся Руднев. — Вижу только глаза, да ещё слышу голос, а кажется, что давным-давно знаю эту весёлую девушку...”

Руднев всегда выделял медсестёр из всех прочих женщин: он их любил, уважал и ценил, как может любить и ценить только хирург, проработавший рядом с ними всю жизнь и на собственном опыте знающий, что врач без сестры мало что может. Когда-то, ещё молодым, Руднев видел в сёстрах скорее учителей, способных показать ему главное: как общаться с людьми. В отделении, где он начинал, работало несколько пожилых медсестёр ещё старой закалки, которые относились и к больным, и к молодым докторам вот именно, что по-матерински, со строгой, порою насмешливой, но неподдельной любовью. Да, они могли быть грубоваты и осадить не в меру капризного пациента, могли даже не согласиться с молодым доктором и оспорить его назначения, но никому и в голову не приходило обижаться на это.

К ним и обращались: “Мать, сделай укольчик!” — именно как к матерям, создающим во всём отделении душевно-семейную атмосферу.

Но годы шли, Руднев взрослел и матерел, а сёстры в сравнении с ним молодели. Когда же они в основном поравнялись годами, Руднев стал видеть в них не матерей, а скорей боевых подруг. И, что греха таить, они порой делили с доктором не только работу, но и диван в ночной ординаторской. И угрызения совести, скажем прямо, не слишком его донимали. “Не нами заведено, — думал Руднев, — и не нами закончится то, что врачи и медсёстры — самые близкие друг другу люди. У нас не просто одна работа — у нас общая жизнь и судьба...”

Время летело, и Руднев замечал, как он постарел — по омоложению медицинских сестёр, окружавших его. Он видел, что теперь вокруг — большей частью юные девушки, годящиеся ему в дочери. С ними крутить любовь как-то уже неприлично — да и на что он, постаревший, нужен этим весёлым красавицам? Поэтому Руднев взял с ними тон отечески-снисходительный и добродушно-насмешливый, как старый солдат с необстрелянной молодёжью. И юным сёстрам нравилось это. Им нравилось и пошутить, а то и от души посмеяться с этим пожилым, ироничным хирургом — тем более что в работе он не уступал молодым, и у него было чему поучиться.

Когда же Руднев ушёл из больницы, он чувствовал, как ему не хватает не только привычной работы в операционной, но не хватает энергии жизни и юности — той, которой с ним прежде делились медсёстры. И сейчас, оказавшись снова в приёмном покое, он был рад и тому, что слышит смеющийся голос сестры, и тому, что они оба с ней спрятаны внутрь защитных костюмов, а значит, и разница в возрасте уже не имеет большого значения.

— Ну что, Камилла, — внимательно посмотрел он в зеленовато-карие глаза медсестры. — Будем работать?

— Конечно, доктор: что нам остаётся? — Её глаза улыбнулись сквозь маску. — А вот, кстати, и “скорая”...

Настойчиво запиликал входной звонок, Камилла нажала кнопку на пульте — и створки тамбура стали медленно расходиться. Красно-белая морда “скоропомощного” “УАЗа” показалась в проёме дверей, а затем из машины неловко выпрыгнул человек в таком же комбинезоне и маске, что были на Рудневе. В резиновой синей руке у него трепыхался сопроводительный лист.

— Что у вас? — спросил Руднев, выйдя навстречу.

— Ковид, — просто ответил комбинезон.

— Носилочный?

— Да, плохой: сатурация семьдесят пять.

Тот, кто лежал на каталке, и впрямь был нехорош. Старик с седой бородой дышал торопливо и шумно и почти не реагировал на окружающее: дышать важнее всего, поэтому старик не мог отвлекаться на те пустяки, что происходили вокруг. Белая борода оттеняла свинцовые губы и синие мочки ушей. Ногти на пальцах, вцепившихся в ворот рубахи, тоже синюшны: нечасто Рудневу приходилось видеть столь явные признаки дыхательной недостаточности. Он скомандовал:

— Камилла, включай кислород!

Сестра отвернула кран висевшего на стене аппарата Боброва, и в стеклянном флаконе забулькали пузырьки кислорода. В ноздри синюшному старику вставили две пластиковые каниюли — и уже через две-три минуты его дыхание стало спокойнее, лицо перестало быть таким пугающе синим, а взгляд — таким напряжённым. Руднев надел на его холодный дрожащий палец прищепку портативного пульсоксиметра и с облегчением увидел, что сатурация выросла до восьмидесяти четырёх: при таких показателях можно не суетиться. Доктор распахнул рубаху на костлявой груди старика, сдвинул брюки со впалого живота и начал осмотр. Стетоскоп сейчас бесполезен — сквозь шорох капюшона ни сердца, ни лёгких выслушать нельзя, — и Руднев ограничился самым привычным: пальпацией живота. Старик дышал всё ещё часто и шумно — он жадно глотал кислород, как в жару пьют холодную воду, — и его напряжённый живот ходил ходуном. В такой ситуации и пальпировать бессмысленно. Получается, главную информацию о пациенте

давал пульсоксиметр — прибор, говорящий о кислородном насыщении крови. Руднев вспомнил, что он читал о его устройстве. В эту штуковину, что он надевает больному на палец, встроены фотоэлемент, который определяет, насколько красна его кровь. Чем красней кровь — тем больше в ней кислорода. А мы-то привыкли считать: красно — значит, опасно! Вот и зона, где мы работаем, называется красной; а на самом-то деле красный цвет — это цвет жизни...

Пока он так размышлял, и пока старик всплывал из гипоксии, как ныряльщик всплывает из глубины, сестра Камилла бойко заполняла на компьютере титульный лист истории болезни.

— Доктор, — спросила она, не отрывая взгляда от клавиатуры. — Вы осмотр сразу записывать будете? Или после, когда старика на этаж поднимем?

— Я привык сразу, по свежим следам.

— Тогда я вам покажу: у вас на рабочем столе есть шаблон — вот он! — и надо вписать только новые данные. Так будет быстрее.

Действительно, по шаблону запись осмотра заняла минут десять: неплохой результат, подумал Руднев, для начинающего инфекциониста. И это при том, что сквозь вновь запотевшие стёкла он видел буквы нечётко, а потолстевшие и неловкие от двух пар перчаток пальцы порою промахивались мимо нужной клавиши.

— Доктор, — спросила Камилла, — а на компьютерную томографию мы его прямо сейчас повезём?

— Нет, пока рано. Пусть его наверху сначала стабилизируют — сейчас он долго без кислорода не протянет.

— Тогда я его поднимаю?

— Давай...

Камилла кликнула санитарку (Рудневу голос её показался знакомым), и они вдвоём покатали носилки к лифту. Обе спешили, потому что старика пришлось оторвать от спасительного кислорода, и надо было, не мешкая, снова пристроить его к аппарату Боброва, но уже наверху, в палате с красным кружком на дверях.

Оставшись в приёмном один, Руднев почувствовал беспокойство. Уж казалось бы, он-то тёртый калач, чего только не повидал и не пережил — в том числе в этом самом приёмном покое, — но он вдруг осознал собственную незащитность перед всем тем, что незримо и явно ему грозило. Перед собственной старостью и одиночеством, перед этим чёртовым коронавирусом, перед множеством задыхавшихся и перепуганных насмерть больных, которых везли ему (и вот именно в эту минуту!) с разных концов города — перед, в конце концов, смертью, что угрожала его пациентам, да и самому доктору Рудневу тоже. Что он мог, один против множества этих угроз? Его даже вдруг зазнобило, словно он оказался на беспощадном и пронимающем до костей сквозняке. “И чёрт меня дёрнул геройствовать? — подумал он, ощутив жалость к себе. — Можно подумать, что без меня бы не обошлись. Сидел бы, старый дурак, в своей волчьей норе — да смотрел новости о пандемии...”

Зато когда вместе с шумом двух “скорых”, одна за другою въезжавших в ворота больницы, Руднев услышал и быстрое шарканье, и голоса в коридоре — медсестра с санитаркой вернулись, — он с облегчением подумал: “Ну, теперь нас здесь целых трое — теперь нас так просто не одолеть...”

17

Камилла и санитарка, пока везли пустую каталку по коридору, а затем опускали её в завывающем лифте, говорили о докторе, что сегодня работал с ними в приёмном.

— Мужик вроде толковый, — одобрительно отзывалась Камилла. — Хоть и старый, а соображает быстро.

— Да какой же он старый? — возмущалась санитарка, которая сама была лишь немногим моложе Руднева и успела поработать с ним вместе

несколько лет. — Михалыч мужик огневой! Бывало, ни одной юбки мимо не пропустил.

— То-то смотрю, — заливалась смехом Камилла, — он всё норовит меня приобнять: как бы, типа, по-дружески...

— Что ты! — кивала шуршащей, большой головой в кашпоhone её собеседница. — Я тебе не рассказывала, как он в лифте застрял?

— Нет, а что там случилось?

— Это, милая, было лет тридцать тому: Михалыч тогда был моложе тебя. Одна медсестра — её Веркою звали, такая оторва! — попросила Михалыча помочь ей мертвяка в морг отвезти. Одной страшно: тёмной-то ночью...

— Подумаешь, страшно, — Камилла презрительно фыркнула. — Я сколько раз там была!

— Да ты, девка, слушай... Михалыч к той Верке давно уже клеился, да она ему всё не давала: динамила, значит. И вот завозят они жмура в лифт — вдруг: трах, что-то ломается, лифт падает в подвал, и они там застревают.

— С трупом?

— Ясное дело, с покойником.

— Жесть! И долго они там просидели?

— Почти до утра, пока лифтёра не вызвали. Так самое главное: Михалыч, не будь дурак, — хватъ Верку за жопу! Чего, говорить, зря время будем терять?

— Пряма при покойнике? Да ты, небось, гонишь! — хохотала Камилла.

— А чего им покойник — укусит он, что ли? — санитарка сама засмеялась, вспомнив эту историю, давно ставшую больничной легендой. — Мне Верка сама потом рассказывала, вот ей-богу! Говорит: как тут было не дать — и страшно, и темно, и вообще думаешь — не в последний ли раз с мужиком оказалась?

— Да откуда ты всё это знаешь? — смеялась Камилла. — Сама, что ль, в том лифте свечку держала?

— Я ж тебе говорю: мне Верка рассказывала. И вообще, в нашей больничке все про всех знают: кто, с кем и где... Тут, девка, шила в трусах не утаишь...

— Выходит, наш доктор — живая легенда?

— Ну, а я что толкую? Таких мужиков, как Михалыч, теперь днём с огнём не найдёшь!

Вернувшись в приёмное, Камилла другими глазами взглянула на пожилого врача, который сидел за компьютером и печатал очередную историю. “Ишь ты, — подумала медсестра, — каким, оказывается, орлом он был в молодости...”

Ей думалось сразу о многих вещах. И о том, что скоро заканчивается смена — и можно будет наконец-то сходить в туалет. “А то прямо хоть надавай памперс — нет сил терпеть! Как же достали эти костюмы защиты... Всё тело зудит, будто меня отстегали крапивой. Но ничего: скоро отпуск, и мы с Павлом махнём в Крым, если, конечно, к тому времени снимут ограничения. А уж там-то я буду ходить вообще нагишом: вот будет счастье после этого комбинезона!”

Она вспомнила их с мужем любимую Лисью бухту и лагерь nudистов, в котором они провели два сезона подряд. Как было прекрасно жить без одежды, меж морем и высохшим склоном горы Эчки-даг, питаясь рапанами, мидиями и зеленухами, которых добывал её Павел! Они жили там, как в раю: днём плавали и загорали, потом долго спали в тени под брезентовым тентом, а вечерами вся их молодая компания сходилась к костру. Кто пил вино, кто покуривал травку, кто брэнчал на гитаре, а кто занимался любовью, не очень заботясь о том, чтоб надёжно укрыться от глаз окружающих. Вот была жизнь! Камилла и Павел тогда загорели почти дочерна, высохли до худобы и пропитались солёною горечью моря настолько, что целоваться им было больно: соль осыпалась с их губ, как мука, и трещины на коже саднили. Но всё равно они предавались любви почти каждую ночь, под мерный шум волн и стрёкот цикад. Крымские звёзды висели над ними, огромные,

словно созревшие яблоки; горячее тело Павла порой закрывало Большую Медведицу или Плеяды, и такого острого наслаждения, как в те ночи, Камилле не довелось испытать никогда. “Вот только жаль, — вздыхала она, протирая салфеткой панель кардиографа, — что у нас с Павлом до сих пор нет ребёнка... Может, на этот раз нам повезёт — и наш сын будет зачат как раз в Лисьей бухте?”

Камилла украдкой взглянула на Руднева, на его нервные руки в синих перчатках, и отчего-то подумала: “Вот от этого доктора я бы враз забеременела...”

18

Больные продолжали поступать, но более-менее регулярно: больше двух “скорых” подряд к приёмному отделению не подъезжало. Руднев с Камиллой и санитаркой успевали принять пациентов, сводить или свозить их на компьютерную томографию, осмотреть, описать, снять кардиограмму, — в общем, сделать всё, что положено, и при этом не создавать в приёмном очереди. “Вирус пока даёт нам поблажку, — думал Руднев, печатая очередную историю. — Но, чуёт моё сердце, дальше будет хуже. Вот как повалят больные сплошняком — так нам и покажется небо с овчинку...”

Он даже стал находить интерес в сортировке больных — работе, которая раньше, в бытность хирургом, ему доставалась нечасто. Теперь приходилось быстро решать: кого положить, а кого отпустить домой, кого поднимать сразу в реанимацию, а кто пока мог лечиться в общей палате? И Руднев начинал сам себе казаться то ли режиссёром спектакля, который распределяет актёров в пространстве сцены, то ли, скорей, полководцем, отбивающимся от наступающего и превосходящего в силах противника. Вот только враг, которому медики пытались противостоять, был неуловим и невидим — он находился везде и нигде, — и эта незримость угрозы раздражала Руднева больше всего. Он, хирург, привыкший противника видеть и чувствовать пальцами, — вот камень, вот спайка, вот опухоль, вот кровоточащий сосуд — всё никак не мог свыкнуться с мыслью, что они сражаются чуть ли не с пустотой.

Важнейшим исследованием была компьютерная томография грудной клетки. Этот метод считался сравнительно новым, Руднев к нему ещё не привык, и поэтому с интересом ходил к рентгенлаборантам, чтобы рассматривать изображения лёгких на мониторах. Тяжёлого пациента на счёт “раз-два-взяли!” перетаскивали с каталки на платформу томографа — и она вместе с больным заезжала в “трубу” аппарата. Медики наблюдали за этим через стекло из соседней комнаты; аппарат гудел и пощёлкивал, платформа двигалась туда-сюда — и через несколько минут на экране возникало изображение лёгких. Руднев всю жизнь рассматривал рентгенограммы на плёнке, но привыкнуть к картинкам на мониторе не составляло труда: чёткие, их можно поворачивать так или эдак, подсвечивать и затемнять, увеличивать. Поэтому, пересмотрев десяток-другой изображений, Руднев казался себе самому заправским врачом-рентгенологом. Уж что-что, а “матовые стёкла”, главный признак коронавирусного поражения лёгких, были видны отлично: в очагах поражения лёгочные поля затягивал словно туман.

А главная сложность — как и во всех больницах страны — заключалась в нехватке дыхательных аппаратов и коек с кислородной подводкой. Сестра Камилла, отвезя на каталке очередного больного, отчитывалась:

— Всё, на третьем этаже мест с кислородом больше нет. Осталось три на четвёртом — и ещё пара мест в реанимации.

— Пойду-ка я сам туда поднимусь, — сказал Руднев сестре. — Посмотрю: как там и что?

— Сходите-сходите, — кивнула Камилла. — У нас всё равно пока пауза. А если кого привезут, я вас разыщу.

Подъём по лестнице на четвёртый этаж неожиданно дался ему тяжело. Воздух с трудом проходил сквозь респиратор, очки вновь запотели (они запотевали всегда, как только движения становились активнее), а бахилы как-то совсем уж по-стариковски шаркали по истёртым ступеням.

Реанимация была особенным местом — как бы ничейною полосой между жизнью и смертью, где побеждала попеременно то одна, то другая, а уж сейчас, в пандемию, реанимация и подавно сделалась главным полем сражения. Толкнув полупрозрачные маятниковые двери, Руднев вошёл в гулкую, шумную залу: несведущий человек мог подумать, что это фабричный цех, где между натужно гудящих станков снуют работницы в белых комбинезонах. Но единственной продукцией, которую производили эти станки и эти работницы, была жизнь — и она была столь же невидима и неуловима, как и смерть, чьё присутствие здесь было несомненным.

Руднев сквозь запотевшие очки и маску огляделся в просторной кафельной зале, полной коек с больными, шестов каплениц, кардиомониторов и ритмично гудящих дыхательных аппаратов. Такого количества заинтубированных пациентов он раньше не видел, хоть и бывал в этой реанимации тысячи раз. И даже для него, доктора, было тягостно зрелище этих мертвенных лиц, у которых в углах оскаленных ртов торчали интубационные трубки, а на закрытых веках белели влажные марлевые комочки. Сказать, живы те люди или уже нет — трудно. Формально, конечно, все пока оставались живыми — никто бы не стал вентилировать лёгкие мёртвых, — но Руднев-то знал, как трудно возвратит к жизни того, за кого несколько суток дышал аппарат. Хорошо, если “снять с трубы”, как выражались реаниматологи, удавалось одного из пяти. Так что можно считать тех, кто лежал на койках, чья грудь поднималась и опадала в такт движениям чёрной “гармошки” дыхательного аппарата, как бы зависшими между жизнью и смертью.

19

— Здорово, Михалыч! А я тебя сразу узнал: по походке, — раздался знакомый Рудневу голос.

Возле одной из коек стояли две белых фигуры: одна была, похоже, сестрой — она держала в руках тонометр, — а в другой, невысокой, Руднев по голосу угадал доктора Серебрякова. Не сосчитать тех часов, что они проводили вместе в операционной: Руднев — склонённый над раной, а Серебряков, дававший наркоз, — в изголовье стола. Встретить доброго знакомого приятно — да и Серебряков был искренне рад видеть Руднева.

— Здорово-здорово! — пожал Руднев руку в синей перчатке. — Снова, значит, работаем вместе?

— Ага, — кивнул Серебряков. — Только это не работа, а хрен знает что!

— А что так?

— Да с дыхательными аппаратами — просто жопа! Последний свободный остался. Вот займу его, и больше больных переводить к себе не буду: делайте с ними, что хотите!

Он обвел рукой переполненную залу и добавил:

— Погляди: у меня в восьмиместной реанимации — двенадцать душ!

Что мог Руднев на это сказать? Он сам плыл в той же лодке, что и Серебряков, — в лодке, в которой всегда, сколько он помнил, чего-нибудь катастрофически не хватало: то сестёр или санитарок, то лекарств или шовного материала, то денег на зарплату сотрудникам (особенно в лихие девятьностые), то чего-то ещё. Похоже, нехватка самого необходимого была неизменным и чуть ли не главным условием существования их больницы. “Интересно, что бы мы делали, — иногда думал Руднев. — если бы нам дали всё, что положено? Может, совсем бы расслабились и перестали работать? Похоже, что преодоление трудностей — это наш национальный вид спорта”.

— Да что я всё о работе? — сменил тему Серебряков. — Сам-то как?

— Нормально, — Руднев не любил, когда его спрашивали о здоровье. — В больнице-то, вижу, одна молодёжь?

— И не говори! Ветеранов, как мы с тобой, — раз-два, и обчёлся.

— Да, летит время... Ну, а что ещё у вас нового?

— Нового? — ненадолго задумался Серебряков. — Ты когда-нибудь неинвазивную дыхательную маску видал?

— Это которая без трубы в трахее?

— Ага, классная штука! Идём, покажу...

Они прошли в бокс, где лежала единственная больная: молодая женщина необъятных размеров. Её живот возвышался горой, громадные груди, казалось, стекали с кровати, а каждый сосок был размером едва ли не с чайное блюдце.

— Видал, какая фемина? — с гордостью, словно на собственное произведение, показал на неё Серебряков.

Лицо женщины плотно облегла пластиковая маска, от которой тянулись шланги к дыхательному аппарату — “гармошка” в нём поднималась и опускалась, — но, к удивлению Руднева, никакой трубки во рту больной не торчало, и она была в полном сознании.

— Ну как ты, голубушка? — обратился к ней Серебряков.

Толстуха медленно подняла пухлую руку, выставив большой палец.

— Вот и умница. — Серебряков похлопал её по закольхавшемуся, как студень, животу. — Может, маску попробуем снять?

Женщина замычала и протестующе замахала рукой.

— Ладно-ладно, дыши, — успокоил её Серебряков.

Он проверил параметры вентиляции, что-то подкрутил на панели дыхательного аппарата и обернулся к Рудневу:

— Видишь, как здорово? И трубы в горле нет, и сознание сохранено, а аппарат помогает дышать. Сама бы она давно истоцилась: поди, продыши грудь такого размера!

— И что же, такая маска только одна? — спросил Руднев.

— Была ещё одна, но порвалась, — вздохнул Серебряков. — Вот и крутись тут, как вошь на гребёнке. Каждую смену решаю: кому — жить, кому — нет?

— Выходит, ты здесь второй после Бога?

— Да ладно тебе издеваться, — отмахнулся Серебряков, вновь наклоняясь над пациенткой. — Ты, главное, милая, аппарату не сопротивляйся: расслабься и получай удовольствие...

Руднев уходил из реанимации со смешанным чувством. Конечно, обилие тяжёлых больных и общая атмосфера напряжённой работы его угнетали; но встреча со старым приятелем и осознание того, что они снова сражаются вместе, подбадривало и давало надежду. “К тому же, я слышал, — вспомнил он утренний разговор в ординаторской, — к нам приходят новые реаниматологи. А там, глядишь, помогут и с дыхательными аппаратами. Ничего, как-нибудь выдюжим: не первая волку зима...”

20

Не сказать, чтобы он так уж сильно устал к концу своей первой смены — бывали в его жизни дежурства и потяжелее, — но защитный костюм всё больше его тяготил. Вспотевшее тело зудело, и хотелось его почесать; но доступа к собственной коже он был лишён, и Руднев чувствовал, как в нём накапливается раздражение, которое проявлялось и тем, что с больными он разговаривал нетерпеливей и резче, чем в начале дежурства. Имелась и ещё одна, уж совсем прозаическая причина того, что Руднев всё чаще поглядывал на циферблат настенных часов, ожидая, когда придёт смена: ему пора было справить нужду, а защитный костюм и правила красной зоны этого не позволяли. “А терпеть в моём возрасте, — морщился он, — как-то уже и неправильно. Так дотерпишься и до того, что тебе сунут катетер...”

Зато очки и маска перестали запотевать. Даже и непонятно: отчего так случилось? Ходить и дышать Руднев не переставал, в приёмном царили та же самая температура и влажность, но он видел мир не туманно-размытым, как прежде, а вполне чётким. Можно подумать, что он к концу смены так привык к красной зоне, а она привыкла к нему, что меж ними теперь нет разницы, которая и вызывает образование конденсата.

К одному, правда, он привыкнуть не смог: к телефонным звонкам, которые отвлекали его от работы и раздражали ещё больше. Хорошо, если рядом была Камилла: она брала трубку и терпеливо выслушивала людей, зачем-либо позвонивших в приёмный покой. Кто-то спрашивал, как ему быть, если у него поднялась температура, кто-то разыскивал потерявшихся родственников или знакомых, кто-то интересовался состоянием тех, кто лежал в их больнице, а кто-то нёс бессвязную пьяную чушь — и таких, увы, было немало.

Очередной телефонный звонок, резкий и неприятный, разорвал непрочную тишину приёмного, Камилла взяла трубку, но скоро передала её Рудневу:

— Доктор, это, кажется, вас!

— Слушаю! — громко и раздражённо сказал Руднев. — Кто говорит?

— Кто-кто, — захихикали в трубку. — Конь в пальто!

Первым желанием Руднева было бросить трубку — не хватало выслушивать пьяные бредни! — но что-то его удержало, и какое-то он время продолжал слушать шелесты и щелчки, которые раздавались, когда хихиканье стихло. Пустота, — а ведь это, как он понимал, была пустота, создававшая искажения и помехи связи, — словно гипнотизировала доктора, и было не просто перестать вслушиваться в её треск и шелест.

— Так кто же ты, чёрт подери? — повторил Руднев вопрос и услышал в ответ:

— Мужик, не ори! Я — никто...

— А зачем же тогда позвонил? — ухмыльнулся Руднев, которому неожиданно стало смешно.

— Сказать, что я всё-таки существую...

Странную эту беседу прервала сирена очередной “скорой”, въезжавшей во двор больницы. “Сейчас не до мистики...” — подумал Руднев, бросил трубку и вышел навстречу носилкам, катившимся по коридору.

С этим больным — он был тяжёлый — ему пришлось самому подниматься на лифте в реанимацию: Камилла одна не могла и держать флакон капельницы, и управляться с каталкой.

— Опять ты, Михалыч? — встал из-за стола Серебряков. — Ну-ка, девочки, принимайте больного! Вон туда его, к последнему аппарату...

Пока сёстры перетаскивали больного с носилок на койку, Серебряков с горьким вздохом сказал:

— Представляешь, а наша-то красавица приказала долго жить...

— Какая красавица?

— Ну, толстуха, которую мы вместе смотрели.

— Да ты что? — изумился Руднев. — Она же была вроде стабильная. Ещё рукой нам махала...

— Была, да сплыла, — по голосу было слышно, как огорчён Серебряков. — Похоже, тромбоэмболия. Вот как ты ушёл — так она и посинела. Сижу вот теперь, историю оформляю. А наши девки её заворачивают. Теперь положено так: всех ковидных покойников упаковывать в красную плёнку...

Руднев заглянул в бокс. Огромное тело лежало уже на каталке — и как его только сумели перетащить? — и носилок почти не видно под ним. Две фигуры в комбинезонах пытались упаковать мёртвую в большой, шелестящий красный пакет. Но это никак им не удавалось: покойница была так велика, что её локти и груди то и дело выпадали в прорехи. Рудневу даже на миг показалась, что толстуха ещё жива, ещё борется с кем-то невидимым — и поэтому руки и груди её не помещаются в красном коконе смерти. Сёстры злились, ругались, а ленты широкого скотча с пронзительным треском оплетали покойницу. В шелесте плёнки слышалось что-то такое, что будто бы издавалось над ними, живыми: и над Рудневым, и над огорчённым Серебряковым, и над хлопотавшими сёстрами, и над всеми больными, лежавшими в реанимации.

Шесть часов смены, наконец, истекли — молодой доктор пришёл сменить Руднева минута в минуту, — и теперь всех, кто отработал, ждал путь обратно: выходить из красной зоны полагалось по особым правилам. Перед дверью санпропускника образовалась даже небольшая очередь из врачей, медсестёр, санитарок и лаборантов. Но это никого здесь не тяготило, — наоборот, в ожидании душа и отдыха все были весело оживлены.

Процедура разоблачения начиналась с орошения дезраствором. Гудел компрессор, и люди в комбинезонах опрыскивали друг друга: один направлял наконечник распылителя, а другой медленно поворачивался в холодном и едко пахнущем облаке антисептика.

— Какой это гадостью нас обрабатывают? — спросил Руднев девушку, оказавшуюся в паре с ним.

— Гипохлорит, — отвечала она, направляя на Руднева шипящий распылитель. — Говорят, убивает не только коронавирус, но и всё живое.

— Ишь ты, — хмыкнул Руднев, поворачиваясь в едком облаке. — Ладно, достаточно. Давай-ка, милая, теперь я тебя опылю...

Затем все снимали средства защиты перед длинным, застеленным красной клеёнкой столом. Очерёдность разоблачения была строго определена. Сначала снималась первая пара перчаток, затем респиратор и маска, потом две пары намоченных бахил — и лишь после этого шапочка и комбинезон. Сняв любой из предметов, составлявших защитный костюм, полагалось погрузить кисти рук в таз с тем же самым гипохлоритом натрия. Раньше Руднев видел что-то подобное лишь в институте, да и то не в реальности, а в учебнике военного дела — в разделе о дезактивации и дезинфекции.

Самым большим наслаждением оказалось снять, наконец, респиратор и маску — и облегчённо вздохнуть. Лицо так зудело — особенно вокруг глаз и на переносице, — что хотелось тут же его расчесать; но руки пока оставались в перчатках, и приходилось терпеть этот зуд, выполняя непреложные правила санобработки.

Второй для Руднева радостью после возможности свободно дышать стало возвращение в мир женских лиц и фигур. Шесть часов его окружали одни лишь щитки масок да бесформенные комбинезоны, в которых даже и пол человека не сразу удавалось определить. И Руднев только теперь, в оживлённой толчее санпропускника, осознал, как же важно ему видеть женские лица. Да, они сейчас безо всякой косметики, бледные и измождённые, со следами от масок и респираторов, — а кое у кого переносицы стёрты до садин, — но всё равно милей этих лиц Руднев, кажется, ничего не встречал. Оказавшись, пусть на короткое время, в обезличенном мире, он с радостью видел, как окружающий мир опять обретает лицо — точнее, лица, — и они в основном женские.

Возвращение женских фигур тоже радовало его. Санитарки и сёстры одна за другой сдвигали от подбородка вниз бегунок “молнии” комбинезона — балахон словно трескался вдоль — и из белой, шуршащей его оболочки появлялись женские плечи и руки, а затем ноги. Это было похоже на то, как из куколки появляется бабочка: когда хитиновый треснувший кокон неохотно выпускает на свет красоту, которую он скрывал прежде. И вот уже мокрый комбинезон стоптан к стройным ногам, а юная женщина, выбравшись из надоевших ей оболочек, так сладко потягивается — словно и впрямь у неё расправляются крылья...

Руднев и сам себя почувствовал помолодевшим лет на пятнадцать, когда снял защитный костюм. Теперь его ждал душ — непременная часть санобработки. Встать под горячие струи было таким наслаждением, что Руднев чуть не застонал. Впрочем, из двух соседних кабинок вместе с шумом и плеском воды как раз и доносились почти сладострастные стоны: все, кто мылся после шестичасовой потной смены, испытывали схожие чувства.

Сначала Руднев, ещё не намывлив мочалку, скрёб лицо, темя, шею ногтями, вспоминая чью-то дурацкую мысль, вычитанную давно: “Счастье — это возможность почесаться, когда захочется”. “Не такая уж она, оказывается,

и дурацкая, — подумал доктор, продолжая остервенело чесаться, — особенно в красной зоне...”

Утолив первый зуд, он выдавил шампунь на мочалку и взбил пену. Почти всякий раз, когда Руднева покрывала мыльная пена, ему вспоминалось, как пятилетнего Ваню (неужели когда-то он был таким?) купала его деревенская бабка. Мальчик стоял посреди жарко натопленной хаты в оцинкованном, хлопающем под ногами корыте. Пышная пена покрывала его так обильно — она с мягким шипеньем ползла по груди, животу и ногам, — что Ване казалось, будто он может вовсе исчезнуть в этом шипящем и оплывающем облаке. “Вдруг из пены появится кто-то другой, — думал мальчик, — тот, кого я и вовсе не знаю?” И он всегда с волнением ждал той минуты, когда бабушка осторожно, боясь обжечь внука, будет лить на него из ковша тёплую воду — и блестящее, гладкое, чистое тело в первый миг, в самом деле, покажется новым и даже немного чужим.

Вот и сейчас под горячими струями душа Руднев испытывал нечто подобное — чувство, что он рождается заново. “Тоже мне, Афродита, — ухмыляясь, смывал он остатки мыла. — Ты ещё, может, надеешься встретить любовь?”

22

Переодевшись в сухое и чистое, — он полжизни провёл в таких вот просторных портах и рубаше, в которых он и оперировал, и урывками спал на дежурствах, — Руднев спускался по лестнице на второй этаж, где устроили зону отдыха для бригад, отработавших смену.

Какое удовольствие помыться в душе и переменить одежду, но такая же, если не больше, радость пройтись по оживлённому коридору, полному голосов и движения и главное — человеческих лиц без масок. Но не одно многолюдье и оживление радовало его. Всё, что Руднев видел сейчас в зоне отдыха, воскрешало в памяти коридоры общаги и шесть студенческих лет, проведённых вот точно в таком окружении голосов, лиц и смеха. И ещё удивительно — Руднев отметил это впервые — больница напоминала общагу даже своей обветшалой-имперской архитектурой. Да, вот точно такие же гулкие коридоры, высокие потолки и такой же торжественный сумрак царил в их общежитии, стены которого видели Руднева двадцатилетним.

С давно позабытым волнением он шагал мимо старых дверей в облупившейся краске, за которыми слышались взрывы женского смеха и из которых порой выбегали полуодетые девушки с полотенцами вокруг мокрых голов и в небрежно накинутых ярких халатах. Как и сорок лет назад, Рудневу чудилось, что за каждой дверью — только толкни её и войди! — его ожидает ещё одна, новая и непочатая жизнь. Женский смех, — а возможно, ещё и обилие тех впечатлений, какими его одарила сегодня красная зона, — кружил голову Рудневу: молодость вспомнилась так, как давно уже не вспоминалась.

И общага была с нею связана так неразрывно, как будто одно не могло существовать без другого. Когда Руднев впервые вошёл в её двери, толкнул турникет, повернувшийся с жалобным скрипом, когда он вдохнул тот особенный воздух, которым дышал потом целых шесть лет, — воздух одновременно и затхло-застойный, и полный особенной, юной свободы, — он сразу понял, что обречён полюбить этот гулкий, торжественный сумрак общаги.

Поначалу, когда ему, первокурснику, становилось особо тоскливо — уставал ли он от бесконечной зубрёжки, скучал ли по дому и матери, — он отправлялся бродить коридорами общежития. В старом здании располагалось несколько лестниц — две парадных, четыре “пожарных” — и такое количество переходов и закоулков, тупиков и загадочных комнат, что в недрах общаги можно было блуждать, как в дремучем лесу. Порой начинало казаться, что общага собой заполняет весь мир, что в нём и не может быть ничего, кроме этого гулкого сумрака, стёртых ступеней и старых паркетин, кроме табачного неистребимого запаха в тёмных углах, завывания труб

в туалетах, кроме скрипа и хлопанья тяжеловесных дверей... Бродя этажами общаги — их было пять, не считая подвалов, спускаться в которые он пока не решался, — Иван испытывал то болезненно-острое состояние одиночества, которое возникает лишь в окружении многих людей, в мельтешении лиц и почти не смолкающей многоголосице. Он, конечно, был частью всей этой массы людей, но вместе с тем сознавал, что свою жизнь он обязан прожить только сам, и помочь ему в этом не сможет никто. “Или всё же поможет?” — с надеждою думал Иван, проходя этаж за этажом, коридор за коридором и сам не вполне разбираясь в тех спутанных чувствах и мыслях, что его переполняли.

Сильнее всего Иван волновался, когда встречал девушек, шагавших ли по коридору, колдовавших ли возле кастрюль на общих кухнях, или хотя бы слышал, как звонкий девичий смех раздаётся из-за тяжёлых дверей, мимо которых брёл задумчивый бледный студент. Он чувствовал, что спасение от одиночества, от неотвязной тоски, от груза собственной личности, только ещё зарождавшейся, но уже непростой и тяжёлой, — спасенье могло прийти только от женщины и от женской любви.

И он быстро понял, что его молодые блуждания по коридорам и лестницам старой общаги были, по сути, поиском женщины. Причём не какой-то конкретной, имеющей имя, судьбу и характер, а поиском той женской тайны, какая разлита по множеству лиц, голосов, взглядов, тел. Можно сказать, что Иван искал женственность как таковую — он без неё прямо-таки задыхался.

Больше того: вся громадная эта общага, которая тяжеловесно и сумрачно окружала его, порой представлялась Ивану огромной женщиной, которую он обязан завоевать. И входя по какой-либо надобности в комнату девушек, — скажем, взять конспект лекции или попросить нитку с иглой, чтобы пришить отлетевшую пуговицу, — Иван в глубине души чувствовал, что он входит ни много ни мало в саму ожидавшую этого вторженья общагу. Он погружался в тот женский мир, где всё восхищало его и где он мог, наконец-то, по-настоящему жить и дышать. Минуты, когда он оказывался в окружении всей этой женской милой неразберихи — платьев на стульях, флаконов с духами на тумбочках (первенство было за “Красной Москвой”), бюстгальтеров, сохнувших на верёвках между кроватями, — были одними из лучших минут его жизни. Он чувствовал: здесь сам воздух пропитан любовью — точнее, ожидаемъ любовью, — и дышать этим женственным воздухом Иван мог бесконечно...

Руднев даже потряс головой, чтобы прогнать наваждение воспоминаний и снова увидеть не коридоры общаги и не женские комнаты, а привычный ему коридор больницы. И всё же их сходство казалось ему поразительным — несмотря на четыре десятилетия, которые их разделяли. Это какое-то колдовство. Стоило только войти в красную зону — как он вновь оказался в собственной юности. Интересно, какие ещё сюрпризы она ему приготовила?

23

— Михалыч, обедать-то будешь? — окликнул Руднева Серебряков. — Садись к нам: махнём по сто грамм фронтowych!

Одну из палат отвели под столовую: здесь стояло три круглых столика, а на подоконнике высились стопки пластиковых контейнеров с едой.

— И что, хорошо кормят? — спросил Руднев.

— А то! — хохотнул Серебряков. — Жаль, что не поят за казённый счёт. Ты же знаешь, Михалыч, что коронавирус спирта боится?

— Что-то такое слышал...

— Слышал он! Это же самое главное: единственное после кислорода лекарство.

И Серебряков, не стесняясь, поставил на стол бутылку водки. Да, вольные здесь стали нравы. Раньше всё-таки не выпивали открыто. Видимо, чем ближе смерть — тем больше в людях свободы...

— Набирай, Михалыч, закуску, — подсказывал Серебряков. — Непременно капустки возьми: хороша! Вот точно такую моя покойная матушка делала...

Руднев взял капустный салат и котлету с картошкой. Всё было упаковано в пластик — как подают в самолётах, — но, судя по увлечённо жевавшим врачам и медсёстрам, еда и впрямь была вкусной.

— Не сомневайся, — словно прочитал его мысли Серебряков. — Харчи первый сорт! Ну, где твой стакан? Давайте вот что: помянем тех, кого не сумели спасти...

Несмотря на печальный тост, Руднев выпил с большим удовольствием. Всё-таки смена была напряжённой — да ему ещё многое оказалось в новинку, начиная с костюма защиты и запотевавших очков, — так что хороший глоток ледяной обжигающей водки оказался как раз кстати: в груди Руднева словно расцвёл горячий цветок.

— Что, хорошо? — подмигнул Серебряков.

— Неплохо, — выдохнул Руднев и взялся за вилку.

Капуста и впрямь отменно вкусна. Да и котлета, и жареная картошка так хороши, что у азартно жевавшего Руднева в буквальном смысле слова трещало за ушами. Серебряков разлил ещё по одной — бутылка на этом закончилась — и это тоже, подумал Руднев, правильно: всё-таки вечером им предстояло возвращение в красную зону, и увлекаться спиртным ни к чему. Ему уже стало так хорошо, как давно не бывало. Тот тугой узел, что Руднев почти постоянно ощущал где-то около сердца, наконец, распустился — и какое-то время можно просто жить и дышать, не ставя перед собою задачи, которую непременно нужно решить, а наслаждаясь покоем и счастьем обычного существования. “Вот почему, — думал Руднев, — мне всегда нужно словно кому-то доказывать своё право на жизнь? Уж я-то к своим годам вроде как заслужил это право, а до сих пор будто бы виноват перед кем-то за то, что живу. И в редкие только минуты — такие, как эта, — я могу просто дышать и смотреть вокруг, никому ничего не доказывая...”

Их за столиком сидело четверо — к ветеранам подсели два молодых доктора, — и Руднев, слушая гул разговоров и взрывы смеха, опять вспоминал студенчество: в комнате, где он жил в юности, стол тоже был круглым, и за ним точно так же собиралась шумная молодёжь. Серебряков очень живо рассказывал о своём детстве, проведённом в рязанской глуши, и слушатели смеялись до слёз.

— Вот у вас, молодых, что было за детство? — обречённо махал рукой Серебряков. — Вы, небось, и печного дыма не нюхали, и босыми ногами коровьих лепёх не давили... А мы, — правда, Михалыч? — как сходим на дойку, да как молочка-то парного нам девки нальют, да как животы нам раздуют после ворованных яблок — вот это, я понимаю, жизнь!

Молодёжь зачарованно слушала, а Руднев думал о том, до чего же ему и Серебрякову повезло: им удалось застать ту реальную жизнь, о которой нынешняя молодёжь может знать разве из интернета. Припомнились ему и случаи собственного деревенского детства: например, то, как он голым полез в крапивные заросли. “Не рассказать ли об этом? — подумал Руднев. — Впрочем, не стоит: особо смешного там нет; а признаваться, каким дураком я был уже смолоду, — пожалуй, что и ни к чему...”

Ване Рудневу было тогда лет десять. Их детская деревенская стайка, — помнится, Вовка Титчев и Лёшка Кошцев, Нинка Житких и ещё кто-то — убежала за речку, на склон, изувеченный бомбами. Хотя после войны прошла уже четверть века, воронки были ещё глубоки, и в них росла непролазная, чуть ли не в два человеческих роста крапива. И вот кто-то, — кажется, Лёшка, — воскликнул:

— Слабо голяком пролезть через эту крапиву?

Все засмеялись: уж очень диким показалось такое предложение. Тем более, что каждый знал, что такая крапива — подсыхая, чуть порыжелая — стрекается злее всего. И только Иван с обречённой решимостью понял: вот сейчас он разденется и полезет в крапивные заросли!

Пока Иван раздевался, сверстники поглядывали на него с недоумением, переходящим в брезгливость. Сам же он ощущал, как с каждым мгновением от них отдаляется, раз собирается сделать то, на что не решаются остальные. Оставшись в одних трусах, он сделал шаг в зашелестевшую рыжевато-зелёную гущу. С подсохших крапивных метёлок на плечи и голову посыпалась ржавая пыль. Странно, но первые пять-шесть секунд крапива не жглась, она словно тоже была удивлена неожиданным поступком Ивана. Да и после, когда он углубился в крапивные заросли и под ногами зачавкала жижа (на дне воронки оказалось небольшое болотце) — ожоги оказались слабее, чем он ожидал. Иван остановился на самом глубоком месте, запрокинул голову и подумал, что такого прекрасного неба, как то, что синело вверху, меж крапивных метёлок, он прежде не видел. Неожиданно он ощутил такой прилив радости, что забыл о крапиве, о зуде, о грязи, что чавкала под босыми ногами: тело, которое он только что подчинил своей воле, вдруг перестало ему досаждать и мешать и словно вовсе исчезло. Но разлучившись с собственным телом, Иван обрёл себя в чём-то другом; где помещалось это “другое” и как оно называлось, сказать он не мог, — но сомневаться в его существовании отныне было нельзя.

Когда Иван вылез из ямы — по колени в грязи, весь в нашлёпках крапивных ожогов, — на него смотрели, как на зачумлённого.

— Ну, и как там? — с опаской спросил его Лёшка.

— Нормально, — пожал плечами Иван, с трудом сдерживаясь, чтобы не начать остервенело чесаться.

— Ну, и дурак! — звонко крикнула рыжая Нинка, засмеялась и побежала к реке.

За ней засмеялись и остальные: поступку Ивана нашлось объяснение, и оно было с радостью принято. “Сами вы дураки...” — думал он, одеваясь, со спокойствием, удивлявшим его самого. То, что он понял сам о себе, стоя среди обжигавшей крапивы, было отныне его личным опытом и достоянием — и делиться им он не собирался ни с кем.

Бабка, увидев Ивана, сначала не на шутку перепугалась и даже хотела везти его к доктору, но когда он рассказал о крапиве, долго смеялась.

— Ай да внучок! — потешалась она. — Это ты, значит, сам себя отстегал? Ну, теперь тебе и сам чёрт не брат...

Она дала Ване банку сметаны — и, пока тот обмазывал нестерпимо зудящее тело, всё причитала:

— И в кого ты, Ванюша, такой уродился? За что ни возьмись — всё норвишь сделать по-своему! Ты мажь, мажь гуще: сметана у нас, слава Богу, не покупная...

24

— Ну, и где же нам подремать? — спросил Руднев, подавляя зевок.

— Пойдём, покажу, — поднялся Серебряков.

Палаты, где раньше лежали больные, были отданы медикам, чтобы те могли отдохнуть между сменами. И вновь Руднев поразился тому, до чего же большая мужская палата, куда его привели, напоминала комнату общежития. Здесь тоже стояло шесть коек и шесть тумбочек у изголовий, и царил именно тот беспорядок временного приюта, что был так памятен Рудневу с юности. И ему сейчас был по душе этот живой беспорядок: и смятое постельное бельё, и одежда, небрежно брошенная на спинки кроватей, и разномастные чашки на тумбочках.

— Я что-то свободных коек не вижу, — огляделся он.

— Да занимай любую, — широким жестом показал Серебряков. — Тут у нас задросто: лёг, где есть место, поспал — и потопал на новую смену. Пока работаешь — на эту койку ещё кто-нибудь ляжет.

— Ясно... Тогда я прилягу вот здесь, у окна.

Руднев вспомнил, что именно так, изголовьем к окну, стояла его кровать в комнате номер двенадцать, где он прожил шесть студенческих лет. И, как

только он лёг, ему показалось: он снова в общежитии, и вот-вот должны появиться его соседи по комнате. Возможно, что он и не слишком бы удивился, если бы так и случилось. “Где-то они теперь? — вспоминал Руднев своих однокурсников. — Раскидала нас жизнь, а кого-то уже и на тот свет забросила. Шутка ли: почти сорок лет прошло с той поры...” В комнату кто-то вошёл, затем вышел; на соседнюю с Рудневым койку завалился и тут же начал похрапывать молодой парень с чёрной, словно приклеенной бородой; в коридоре за дверью беспрерывно слышались голоса и шаги. Казалось, заснуть в такой обстановке — при его-то бессоннице — у Руднева нет ни малейшего шанса. Но он чувствовал, как погружается в сон: как его мысли текут всё свободнее и беспорядочней, а картины, что возникают перед мысленным взором, всё уверенней вытесняют реальность. За дверью послышался женский смех, ему очень знакомый, и засыпающий Руднев подумал: “Это, конечно же, Мила — уж её-то не спутать ни с кем...”

С Людой Лабиной — Милой, как все её звали, — он расстался в конце институтской учёбы. Их ссора была настолько глупа и случайна, что Руднев даже не помнил конкретных её обстоятельств. Как раз шла выпускная сессия, надо было сдавать госэкзамены и решать вопросы с распределением, и они во всей этой суете не находили времени помириться. Неожиданно Руднев с удивлением и возмущением узнал, что Милу видели с каким-то московским доктором, ещё молодым, но уже успешным; а сразу после экзаменов она и уехала с ним. “Ну и чёрт с тобой!” — думал обиженный Руднев. Распределение он сам выбрал в такую глушь, куда в распутицу можно было добраться только на вертолёте. Уже через несколько лет случайно встреченный однокурсник рассказал ему, что Мила уехала с мужем в Америку, но, кажется, не прижилась там и возвратилась. Но неизвестно, ни в каком она городе, ни какова её семейная жизнь, ни даже то, каким врачом она стала. “Да и вообще: жива ли она? — порой думал Руднев. — Надеюсь, жива — уж о смертях-то вести обычно доходят...”

Когда-то, ещё молодым, он вспоминал Милу часто. Не сказать, чтобы он так уж сильно страдал от разлуки — работа хирурга, а затем и семейная жизнь не оставляли ни сил, ни времени для ностальгических переживаний, — но всё-таки что-то тепло в душе, когда память непрошено и наугад показывала какую-нибудь картину из их с Милой общего прошлого. Правда, с годами такое случалось всё реже: душа Руднева неизбежно черствела и сохла, и живая вода воспоминаний нечасто смачивала её. А уж инсульт и подавно стёр из памяти многое.

И только выход в красную зону, где вся обстановка напоминала общагу, в которой и закрутились их с Милой роман, так неожиданно переместил Руднева в прошлое, что он и сам уже не понимал, где находится: в реальности или во сне, в одинокой старости или в юности, полной надежд?

25

Ему снилось то, как преображалось их общежитие субботними вечерами. Просторный читальный зал превращался в зал танцевальный: столы сдвигались к стенам, а в углах появлялись динамики и цветомузыкальная установка, испускавшая не только ревущие звуки, от которых дрожали колонны и стены, но и ритмичные красные вспышки. А меж колонн танцевального зала теснилась хмельная, вспотевшая масса людей. Того, кто вошёл, — как это сделал Иван в своём сне, — поражала теснота, духота и багровые сполохи, что скользили по лицам, стенам и потолку, превращая пространство в единое красное месиво. Среди танцующих девушек было больше, но из-за мелькающих вспышек Иван замечал лишь отдельные лица, затылки, колени и локти: словно детали конструктора, из которого можно было собрать какую угодно — по желанию — женщину. Красные блики отражались и в глазах танцевавших, и в зёрнах пота на их взмокших лбах.

“Какую же женщину хочется мне?” — соображал Иван. То, что он видел, пока не решаясь шагнуть в эту гущу живой человеческой плазмы, и от-

талкивало его, и привлекало. Вся слитная масса танцующих девушек, что содрогалась пред ним под ритмичные громкие звуки и красные вспышки, казалась единым, манящим Ивана и жаждущим слиться с ним женским телом. Несколько голых рук призывно махали ему.

Наконец, он шагнул в гущу танцующих, полную острых локтей и коленей, дыхания, влажных касаний, и поплыл в ней, стараясь пробиться в центр зала. Не сразу — уж очень здесь было тесно, — но это ему удалось. Иван чувствовал: если не двигаться вместе со всеми, его непременно сомнут и затопчут. Поэтому он старался попасть в общий ритм, содрогаясь в таких же конвульсиях, в каких корчились все, кто его окружал.

Вдруг ритмичная быстрая музыка смолкла — танцоры, тяжело дыша, заозирались, — и зазвучали тягучие стоны электрогитары. Играли “Отель “Калифорния”, самую популярную тогда песню. Медленный танец предлагал всем разбиться на пары; Иван, протянув руку в красные сумерки, коснулся ближайшего плеча — и к нему обернулась невысокая стройная девушка с ясной улыбкой и живыми глазами.

— Ты кто? — громко крикнула девушка.

— Я Иван! — постарался он перекричать музыку.

— А я Мила! — прокричала она ему на ухо и положила руки Ивану на плечи.

Тесно обнявшись, они переминались с ноги на ногу — насколько им позволяло пространство меж точно таких же обнявшихся и переминавшихся пар. Говорить из-за томного завывания музыки было нельзя — только кричать, почти касаясь губами уха, — но разговоры были им ни к чему. И красные вспышки, и теснота, и откровенная музыка всё уже словно сказали за них: Иван искал женщину, Мила искала мужчину — и, похоже, их встречные поиски увенчались успехом.

Часа через два они выходили из танцевального зала в обнимку, словно давным-давно знали друг друга. Вопрос был один: куда им пойти? В двенадцатой комнате, где жил Иван, шла развесёлая пьянка; все лестничные площадки, какие им встретились, уже были заняты целующимися парами. Как общага была ни велика, но, похоже, и ей было трудно предложить всем желающим укромный приют.

— Ты где живёшь? — спросил Иван Милу.

— В триста двадцатой.

— Может, к тебе?

Мила пожала плечами: решай, мол, сам — ведь ты же мужчина...

В комнате Милы свет был погашен — лишь бледно серело окно — и трое девушек сонно зашевелились на койках, стоявших вдоль стен.

— Милка, ты? — прошептал кто-то из темноты.

— Я, — ответила Мила, тихо смеясь. — Вань, не шуми: видишь, все спят...

Кровать Милы стояла налево за шкафом, и это создавало хотя бы иллюзию уединения. Впрочем, когда Иван поцеловал девушку в сухие горячие губы, а потом поднял её блузку и сжал упругую, как ни странно, прохладную грудь, ему стало уже всё равно, есть ли в комнате кто-то ещё. Он сдёргнул рубашку, потом, торопясь, расстегнул и стоптал на пол брюки — и крепко прижал Милу к себе. Он чувствовал, как она часто дышит и как её сердце стучит под распластавшейся левой грудью. Потом Мила, горячо что-то шепча, потянула его за собой — и они опустились в глубокую, заскрипевшую и застонавшую яму постели...

26

Роман Ивана и Милы вспыхнул быстро и горел ярко: молодость была лучшим горючим, что поддерживало этот костёр. Встречались они почти каждый день, правда, возможностей уединиться общага предоставляла немного, и нередко гуляли ночами по городу.

С Милой было легко и почти всегда весело. Смешливая и говорливая, она восхищала Ивана и лёгким характером, и тем особенным светом, который

всегда излучали её глаза. А улыбка почти не сходила с её миловидного, очень живого лица. “Вот уж, действительно — Мила!” — думал Иван всякий раз, как встречал её карий взгляд и улыбку и слышал её торопливый, немного картавящий голос.

С ней было легко говорить — и, что важнее, — легко помолчать: если даже Иван был задумчив (а это случалось нередко) и не хотел разговаривать, то Мила сама щебетала о чём-то, и этот её говорок несколько не раздражал, а, наоборот, успокаивал. “Это как пение птицы, — думал Иван. — Хочется слушать и слушать...” Вот и во время ночных прогулок говорила большей частью она, а Иван то вставлял реплики, то поддакивал, то думал о чём-то своём, и этим его размышлениям ничуть не мешало присутствие Милы.

Может, эта склонность Ивана задумываться и привлекала её? Как Руднев восхищался её живой женственностью, так Миле, похоже, нравилась задумчивость, немногословность и даже угрюмоватость Ивана: те качества, в которых настоящая женщина чувствует душу мужчины, необходимого ей.

— Ну, что ты всё время морщишься? — Мила, смеясь, трогала быстрыми пальцами то виски возле глаз Ивана, то углы его рта. — Я тебя никогда не видала расслабленным.

— Даже в постели?

— В постели — тем более! — хохотала она. — У тебя тогда просто зверская рожа!

Ночные прогулки стали для них почти ритуалом. Конец апреля выдался тёплым; уже зацвела черёмуха, и её дурманящий запах заливал переулки и улицы, по которым они бродили. А вот прохожих почти не встречалось, им попадались лишь редкие милиционеры да запоздалые пьяницы. Можно было подумать, что город нарочно освободил свои улицы, площади, скверы, чтобы Иван с Милой могли без помех гулять под его фонарями.

— Вань, а куда все подевались? — удивлялась Мила. — Вымерли, что ли?

— Может, и вымерли, — пожимал плечами Иван. — Вдруг это вирус какой-нибудь всех поразил?

— Представляешь: приходим в общагу, а там — никого... — трагическим голосом произносила она, и тут же начинала смеяться. — Вот здорово: выбирай любую из комнат — и кувыркайся там, сколько угодно!

Но смех смехом, а это было действительно странно. Ивана не оставляло смутное чувство тревоги; он думал: что, если и впрямь людей поразил какой-то неведомый вирус, и они с Милой скоро останутся одни на всём белом свете? Как раз в этом семестре им читали курс микробиологии, и Иван много размышлял о тех чудесах и угрозах, какие таит мир бактерий и вирусов. “Вот идём мы с Милой, — думал он, вполуха слушая её рассказ о недавнем зачёте, — а внутри нас скрыты не просто миры — вселенные! И что они, эти внутренние вселенные, знают о нас — и что мы знаем о них?”

Он вспомнил последнюю лекцию: то, что старый, смешной и азартный профессор рассказывал об удивительной подлости вирусов.

— Что есть вирус? — восклицал толстяк-лектор, сдвинув очки на сверкавшую лысину. — Это всего лишь кусок нуклеиновой кислоты; по сравнению с клеткой, в которую этот подлец проникает — это тьфу, гадость, это три грязные буквы, которые пьяный дурак написал на заборе!

— Какие буквы, профессор? — ехидно спрашивали из задних рядов.

— А то вы не знаете! — лектор грозил пальцем, и студенты дружно смеялись. — И как это бранное слово является только ничтожной частью человеческой речи — так и та информация, что содержится в вирусе, ничтожна по сравнению с той, что содержит геном человека!

Профессор прерывался, чтобы выпить воды, отирал взмокший лоб и ерошил седые остатки волос, а затем продолжал с прежним пылом:

— И вот это ничтожество начинает командовать синтезом наших белков. А почему, — взывал лектор к залу, — происходит такое?

Зал гудел, волновался, смеялся.

— Потому что мы слишком доверчивы! — горестно вскидывал руки профессор. — Мы, увы, доверяем чужой информации и принимаем её за свою...

Он проходил перед рядом висящих таблиц, брал указку и взмахивал ею — как бы фехтуя с невидимым, но опасным врагом.

— Этот мерзавец, — пронзал он указкой кого-то, — заставляет нас с вами плясать под его подлую дудку! Мы начинаем, как дураки, производить новые поколения вирусов, наши клетки гибнут, и вот уже нас с вами нет, а эти незримые подлые твари продолжают захватывать мир!

В общем, профессору не хватало только чернильницы, чтобы запустить ею в несуществующего врага... Да, Почаев был славный старик, и студенты любили его, хоть злые языки и говорили, что он не выходит читать лекцию, не выпив стакан коньяка. Зато его мысли, да ещё изложенные в столь живой форме, надолго задерживались в студенческой памяти. Вот и сейчас Иван размышлял о вирусе как о чужой информации, соблазняющей и подчиняющей человека. “Вместо того чтобы жить свою жизнь, оставаясь самими собой, — думал Иван, — мы отдаёмся во власть чужих сил, и это, в конце концов, губит нас. Но как распознать: где своё — где чужое?”

Ещё он думал о том, что если вирус, по сути, есть информация — то и мысли, которые овладевают людьми, могут распространяться, как вирусы. Тут очень кстати он вспомнил цитату из Карла Маркса (а марксизм-ленинизм был у них, медиков, самым важным предметом — куда важнее анатомии!): что, дескать, идеи, овладевшие массами, становятся материальной силой. “Да и сам марксизм, — приходила Ивану крамольная по тому времени мысль, — разве это не вирус?” В самом деле: то, что придумали два человека в Германии полтора века назад, со временем распространилось, захватило умы миллионы и неузнаваемо изменило весь мир.

Вот и они с Милой, бродя по ночному заснувшему городу, на каждом шагу встречали приметы и символы поражённого красным вирусом мира. Город как раз готовили к завтрашней первомайской демонстрации, и центральная площадь, где уже возвели трибуну, была вся в красных флагах. Правда, ночью и под фонарями эти обвислые флаги казались скорее чёрными, но привычный их цвет так впечатался в память и душу, что каждый, увидевший флаги даже в ночной темноте, был уверен: они, да ещё над трибунами, могут быть только красными.

Вообще, красный цвет был тогда главным цветом страны и эпохи. Октябрятские звёздочки и пионерские галстуки, корочки комсомольских билетов, всевозможные знаки отличий, паспорта, удостоверения, наградные листы и почётные ленты — всё, что сопровождало земной путь человека, вплоть до обивки гробов, было красного цвета. А названия? Вот они с Милой спускались к реке по улице Красный ручей — чудесной, почти деревенской, утонувшей в садах, — вот прошли над Днепром (мост был украшен, естественно, красными флагами) и миновали любимый их кинотеатр “Красный партизан”.

— Куда пойдём дальше? — спросила Мила. — Я что-то устала.

— А давай на вокзал: посидим, выпьем кофе...

— Давай, — легко согласилась она.

27

Они поднимались на пешеходный мост, проходили над россыпью разноцветных железнодорожных огней — красных и тут было больше, — и Иван с наслаждением вдыхал тот горчащий, креозотом и дымом пропитанный воздух, который всегда вызывал в нём желание ехать и ехать, неважно, куда. Он чувствовал: тот герметически замкнутый мир, в котором он жил и который успел полюбить, стал мучительно тесен не только Ивану, но и себе самому — весь мир будто бы задышался без доступа свежего воздуха. Может, они с Милой и приходили сюда, на вокзал, чтобы вдохнуть, наконец, полной грудью? Когда пассажирский, мелькающий светлыми окнами поезд “Рига—Воронеж” или “Москва—Калининград” тяжело пронёсся сквозь ночь, он пробивал словно брешь в неподвижности сонно-застойного мира, и Иван,

обнимая за плечи притихшую Милу, представлял, как они с ней могли бы сидеть в вагоне-ресторане за мелко дрожащим столиком, на котором позвякивает посуда, а за окном пролетали б ночные огни поездов и полустанков...

Но бывало неплохо зайти и в вокзальный, пустой по ночам ресторан. В углу непременно скучала зевавшая официантка в белом переднике — её грудь была столь пышна, что блокнот в нагрудном кармане лежал горизонтально, — а баночки соли, горчицы и перца на столиках тихо позвякивали, когда по недалним путям проносился очередной громыхающий состав.

— Что закажем? — спрашивал Иван Милу. — Я, кстати, проголодался.

— Я тоже! — смеялась его подруга, которой всё на свете казалось смешным. — Давай спросим, что у них есть...

Обычно они обходились яичницей, которую им приносили минут через десять в тарелках с волнистой синей каймой и клеймом “МПС”.

— Вот тебе и тарелочки с голубой каёмочкой, — ухмылялся Иван. — Чем не жизнь?

Как-то весёлый хмельной мужик, что сидел за соседним столом, угостил их портвейном.

— Студенты? — спросил он, услышав обрывки их разговора. — Я студентов люблю: сам когда-то учился, да не доучился...

Он засмеялся, взерошил седые короткие волосы и позвал официантку:

— Нинуль, принеси молодёжи бутылку “Молдавского”: я угощаю!

Иван с Милой попробовали отказаться, но мужик был настроен решительно:

— Даже не спорьте: я сегодня богатый — гуляю! Потом, когда придёт ваше время, сами будете угощать молодых...

Иван с интересом смотрел на хмельного соседа. Поражала свобода его поведения и разговора — так непривычная в мире, где они жили. Мужик было лет пятьдесят, и похоже, что жизнь обошлась с ним неласково. На левой руке не хватало трёх пальцев, правая кисть синела от татуировок, а на виске багровел грубый шрам. Но глаза мужика были молоды и постоянно смеялись — точно так же, подумал Иван, как и глаза Милы.

Сосед закурил “Беломорину”, глубоко затянулся, выпустил струю синего дыма — и, развалившись на стуле, спросил:

— Ну, как живёте, студенты?

— Нормально, — пожал плечами Иван.

— Не скучно?

— Да нет...

— А мне скучновато, — мужик снова выпустил дым и напомнил. — Вы про портвейн-то не забывайте!

— Спасибо, отличный портвейн, — Иван подпил густое сладкое вино себе и Миле.

— А то! — хмыкнул мужик. — Я, пока срок мотал, всё мечтал: вот откинусь, приду в ресторан на вокзале, закажу ящик портвейна, буду пить и угощать всех вокруг...

— Мечта, выходит, сбылась? — улыбнулась Мила.

— Сбылась, дочка — о том и горюю! Без мечты, сама понимаешь, нельзя... Ну, будем живы!

Отпив полстакана, мужик громко продекларировал в пустоту ресторанного зала:

— У свободы крылья велики, но не сладят с нею дураки!

Это было так неожиданно, что захохотали не только они с Милой, но и грудастая официантка. Иван любовался соседом и думал: вот человек, который недавно вышел из зоны, и как же он, чёрт побери, красив! Несмотря на шрамы, седину и морщины, он казался даже моложе их с Милой. В умных, смеющихся, цепких глазах светилось столько жизни, что думалось: сама смерть не погасит огонь, что горит в его радостном взгляде.

— Скажите, — спросил захмелевший Иван, — а вы смерти боитесь?

— Вот это вопрос! — восхитился мужик и добавил, враз посерьёзнев: — Нет, не боюсь — и ты, парень, не бойся... Ничего в ней, смерти, страшного нет.

— А вы разве знаете?

— Да уж как-нибудь знаю, — подмигнул мужик. — Меня сколько раз на тот свет провожали, а я, как видишь, вернулся...

28

В Миле и в отношениях с ней было то живое и настоящее, чего Иван не находил в окружающем мире, лживость которого он ощущал всё острее. И ему приходилось порой делать выбор: быть с Милой — или подчиниться тому, что от него, комсомольца-студента, требует мир, породивший, взрастивший и воспитавший Ивана.

Острее всего это противоречие проявилось в истории с праздничным шествием. Майские и ноябрьские демонстрации в их институте — как и во всех институтах страны — считались чем-то священным. Студенту могли простить любой грех, любые пропуски лекций и двойки, но не отказ участвовать в шествии. А Ивана тошнило при одной мысли о том, чтобы потратить выходной день первого мая на тупое шагание в колонне, под завывание духового оркестра и под плески алых полотнищ над головами. “Нет уж, в эту красную зону я не хожу, — думал Иван, только-только проснувшись. — Пусть, кто хочет, таскает эти дурацкие транспаранты и флаги: а у нас с Милой есть чем заняться...” Не так уж и часто их комната, где жило шесть человек, опустевала на целых полдня, и им с Милой выпадала такая возможность для любовных утех.

Ещё не вставая с постели, Иван удивился тому, как непривычно темно в их двенадцатой комнате: причём сумрак был красновато-зловещего цвета. “Что за чертовщина?” — подумал он. Оказалось, окно снаружи завешено транспарантом, по красному фону которого, справа налево (в обратном порядке, как чёрная месса), читалась надпись: “Слава КПСС!”.

Радио, не выключавшееся никогда, уже давно отыграло государственный гимн и теперь вещало неестественно-бодрым, праздничным голосом. Иван никуда не спешил и с интересом смотрел, как поднимаются и одеваются его соседи по комнате. Звучали обыкновенные шуточки, гудели электробритвы, шумел электрический чайник — в целом, утро было похоже на все остальные. Но оживление праздника всё же чувствовалось и во взрывах общего хохота, и в том, что свои рубашки, брюки и туфли студенты осматривали придирчивей, чем обычно.

— Коль, посмотри, — просил Витя Чаусов, — у меня на спине пятна нет?

— Есть! — радостно сообщал Лозбенев.

— Да ты что? — ужасался доверчивый Витя. — И где же я его посадил?

Он снимал рубашку, и все хохотали: никакого пятна, разумеется, не было. Общага не могла жить без насмешек, подначек, обмана и грубых шуток; но сегодняшним утром дурацкая эта манера врать всегда, всем и везде как-то особенно раздражала Ивана.

С улицы уже слышалась бодрая музыка: институтскую колонну формировали как раз под окном их комнаты.

— Вань, а ты что же, на демонстрацию не собираешься? — спрашивал Алексей Агамирзов.

— Да ну её на хрен! — зевал и потягивался Иван. — Демонстраций я, что ли, не видел?

— Ну, ты даёшь! — Агамирзов не то восхищался, не то ужасался. — Тебя же так взгреют, что мало не покажется...

— А, пускай! — Иван чувствовал, что теперь, после сказанных слов, ему уже стыдно идти на понятный.

Бодрые марши за окном звучали всё жизнерадостней, за красным сукном транспаранта, как копыя, качались и двигались древки флангов, и нарастающий гул голосов временами перекрывал даже музыку. Скоро комната опустела; Иван встал и подошёл к окну. Снаружи гудела толпа, двигались тени флагов и транспарантов, такты музыки словно утрамбовывали людей

и выстраивали их в колонну, а Иван был один, совершенно один... И внутренний голос ему говорил: “Это правильно — так и живи. Никакая толпа не заменит тебя самого и не сделает то, что ты должен сделать сам. А эта бодрая музыка, эти флаги и крики — всё это пустое...”

Зато когда он услышал, как по коридору приближаются быстрые шаги Милы, а затем увидел её радостные глаза, которые будто светились в сумраке комнаты, зачавшее сердце сказало Ивану: “А вот это — живое и настоящее...”

Колонна ещё не ушла от общаги, флаги ещё раскачивались за полотном на окне, и музыка завывала в каком-то уже иступлении, а они с Милой уже раскачивали скрипящую койку. Их движения то совпадали с тактами духового оркестра, то выбивались из общего ритма; но эти события происходили одновременно, разделённые только стеклом и плакатом: толчки молодых, жарких тел друг о друга — и судороги колонны, тяжело ворочавшейся за окном. Шествие то и дело запиналось; красные флаги плескались над головами; отдалившемуся оркестру словно уже не хватало воздуха — он задыхался, хрипел, — и всё это походило на грандиозное совокупление, что толпа совершала сама же с собой. Кровать в иступлении билась о стену; гул музыки оглушал демонстрантов; лица любовников были мокры; от грузно-ритмичного шага колонны дрожала общага. Когда же Иван захрипел, Мила вскрикнула и затрепетала под ним — в тот же миг облегчённо-раскатистое “Ура-а-а!” пронеслось над волнующейся колонной...

29

Конечно, прогул демонстрации ему не простили, как не прощали никому. Через несколько дней, когда в деканате сверили списки и опросили старост студенческих групп, Иван, в числе прочих прогульщиков, был вызван на заседание комсомольского комитета курса. “Разбор поведения” — так это тогда называлось.

— Что, Вань, на вздрючку собрался? — не без ехидства спросил его Лозбенёв, видя, как мрачен Иван, собирающийся на заседание комитета. — Ну, а чего ж ты хотел? Любишь медок — люби и холодок...

Заседания проходили в “красном уголке”, особенной комнате на третьем этаже общежития. Красный цвет в ней действительно преобладал: в углу, рядом с бюстом Ленина, стоял красный флаг; длинный стол был застелен кумачовой скатертью, а над столом висела стенная газета, пестрящая красными буквами заголовков.

Вызывали прогульщиков по одному. За кумачовым столом заседал курсовой комитет, многие лица были Ивану хорошо знакомы — ведь он учился с ними на одном курсе, — но, странное дело, их было трудно узнать. Те два десятка глаз, что посмотрели на вошедшего в комнату Руднева, были словно слепыми. “Вот что происходит с людьми? — удивлялся Иван. — Встретишь иного в общаге, на улице или даже в пивной — человек как человек. И поговорить, и посмеяться, и выпить — всё может за милую душу. Но как сядет за красный стол — так сразу глаза становятся оловянными, словно две пуговицы...”

Ему указали на стул — он сел поодаль от всех — и началась процедура разбора.

— Ну, и что вы скажете в своё оправдание? — спросил его кто-то, кого Иван даже не разглядел, — он смотрел мимо судей.

— В оправдание чего?

— Не прикидывайтесь дурачком, Руднев! — Тот, кто спрашивал, постучал о стол карандашом. — В оправдание своего отсутствия на демонстрации.

— Ничего не скажу, — пожал плечами Иван. — Не пошёл, потому что был занят.

— Любопытно знать, чем?

— А уж это, — усмехнулся Иван, — моё личное дело.

Все десять голов, которые только что явно скучали и чуть не зевали, с интересом посмотрели на Руднева.

— Так-так... — комсомольский председатель, казалось, несколько озадачен. — Значит, вы личное ставите выше общественного?

— Ничего никому я не ставлю, — Иван продолжал смотреть в сторону. — И потом: разве демонстрация — это не добровольное дело?

— Не разводите демагогию, Руднев! — снова застучал про столу карандаш. — Вот влепим выговор — будете знать, что у нас добровольное, а что принудительное!

— А то я не знаю, — опять ухмыльнулся Иван.

Он думал: “Как странно всё то, что здесь происходит... Меня обсуждают, ругают, стучат по столу, а я не чувствую ни вины, ни обиды, ни страха. Словно всё это мне только снится, а на самом деле нет ни этого флага в углу, ни стола с красной скатертью, ни комсомольского комитета. Вот проснусь — и всё это исчезнет, как дым...”

Он почти и не слушал, как его обсуждали, понимая, что люди, входившие в комитет комсомола, должны были отговорить то, что положено, исполняя порученную им роль. То, что всё это игра, Иван понял давно, пожалуй, с тех самых пор, как у них начались отношения с Милой. Сам играть в неё он не хотел, но и не хотел мешать другим притворяться, изображая ревностных комсомольцев. “Пусть поиграются, — думал Иван. — Чем бы дитя ни тешилось... Скорее бы уж вынесли мне этот самый выговор — или что у них там полагается? — да отпустили”. Они с Милой в тот день собирались в кино.

Как он и предполагал, ему вlepили выговор, но даже без занесения в личное дело. Легко отделался. Или комсомольцы пошли уж не те, что раньше? Видно, всё в мире ветшает и выцветает — так же, как красный флаг в углу, рядом с пыльным гипсовым Лениным...

30

Скоро рассыпался весь прежний мир, но не доктор Руднев, который прожил с той поры ещё тридцать пять лет и теперь просыпался на втором этаже городской больницы, превращённой в инфекционный госпиталь.

Спросонья, как это бывает, он не сразу сообразил: где, в каком месте и времени он оказался? Прошлoе и настоящее перемешались в его восприятии; и уже не студенчество представлялось далёким воспоминанием, а, напротив, те годы, что прошли с той поры до сегодняшних дней, — годы, которые и составляли почти всю его жизнь, — казались чуть ли не сном. А юность как будто ещё продолжалась — тем более всё, окружавшее Руднева, так разительно напоминало общагу. И эти шесть коек с измятым бельём и одеждой на спинках кроватей — на двух ещё спали, накрывшись почти с головой, то ли студенты, то ли доктора, — и этот живой беспорядок на тумбочках и подоконнике, и старые стены с потёками на штукатурке — всё возвратилось из юности, из тех дней, когда Руднев был молод и думал, что молод он будет всегда.

А главное, что соединяло его — ещё сонного и не вполне понимавшего, где он и что происходит, — с собственной юностью, была уверенность в том, что и Мила находится где-то неподалёку. Уверенность эта была так сильна, что Руднев, ещё не вставая с кровати, прислушался: а не раздаются ли шаги Милы по коридору? Он в прошлом так часто, с таким нетерпением ожидал стука её быстрых, летящих шагов, который он отличил бы от дробного топота тысяч иных женских туфель, что почти испугался: а вдруг в самом деле она сейчас влетит в комнату?

Но шагов Милы пока слышно не было, и это немного его успокоило и отрезвило. Что ж, значит, можно вставать, не спеша выпить чаю, а затем одеваться на новую шестичасовую смену.

Тот сложный, огромный по содержанию сон, что видел Руднев, не просто его освежил, а словно влил в него новую кровь. Шагая по коридору до туалета, а затем возвращаясь в “кормушку”, Руднев с недоумением поглядывал на свои руки и ноги. С виду они были теми же самыми, что и всегда, но почему в них как будто зудело молодое желание что-либо сделать, куда-то

идти или даже бежать? “Как всё-таки правильно, — радовался Руднев, — что я не остался сидеть дома, в своей волчьей норе, а вышел работать в красную зону. Чем тихо стареть, превращаясь в развалину, лучше выжать последние силы из старого тела и старой души. Да и красная зона, — похоже, не самое гиблое место на свете. Конечно, она угрожает и мучает, заставляет немало терпеть; зато, если выдержишь то, что она предлагает, возможно, не просто останешься жить, но ещё и будешь вознаграждён. Это как в сказках про Бабу-Ягу и твоего тёзку, Иванушку-дурачка: не испугаешься, согласишься полезть в её красную печь, — глядишь, и спасёшься, да ещё и получишь в награду какую-нибудь Василиску Прекрасную...”

31

Только-только он переоделся в защитный костюм и спустился в приёмное, как за окном послышался шум сразу нескольких машин “скорой помощи”. Двор больницы стремительно оказался заставлен красно-белыми “УАЗами” так, что носилки, которые медики выкатывали из торцевых дверей, сталкивались и мешали друг другу. Но люди в комбинезонах, как ни странно, вели себя тихо: не доносятся ни криков, ни ругани. Каждый, видимо, чувствовал: положение слишком серьёзное, чтобы тратить время и нервы на пустое сотрясение воздуха. И кое-как каталкам с задышавшимися больными удавалось разъехаться и развернуться, чтобы занять очередь у дверей приёмного.

Руднев, хоть и не бывал на настоящей войне, вспомнил, чему учили на военных курсах и как действуют врачи медсанбатов при массовом поступлении раненых. Первое, что он сделал, приказал медсестре:

— Звони старшему дежурному, пусть присылает подмогу!

Он понимал, что сейчас главное — выявление тех, кому помощь нужна в первую очередь. Таких оказалось трое. Пройдя вдоль ряда носилок в свете фар “скорых”, Руднев увидел, что губы и уши у двух стариков посинели; а заглянув в одну из машин, он увидел там часто и шумно вздыхавшую женщину, судя по животу — беременную.

— Вот этих троих, — показал он фигурам в комбинезонах, — завозим первыми!

Очередь из каталок снова смешалась. Руднев сам помогал медсёстрам закатывать носилки со стариками в приёмное, затем подвозить их к дверям лифта, и сам поднялся в реанимацию с самым тяжёлым из поступавших больных. От быстрых движений очки опять запотели.

— Он пока без истории, — пояснил Руднев фигуре в комбинезоне (кажется, медсестре), что первой встретилась ему в зале реанимации. — К нам привезли человек десять сразу, так что бумаги писать будем потом.

— Хорошо, — ответила женщина в белом, — у нас как раз дыхательный аппарат освободился...

Руднев взглянул, куда она указала. Одна из белых фигур, стоявшая в дальнем углу, показалась знакомой; но что он мог ясно увидеть на таком расстоянии, да ещё сквозь запотевшие стёкла очков?

— Принимайте его, — передал он больного сестре, — а мне некогда: ввизи много работы. Не забудьте каталку вернуть!

Торопливо спускаясь обратно в приёмное, Руднев думал о двух вещах: как бы не поскользнуться и что же такого особенного было в той белой фигуре (по всему судя, женщине), которую он увидел в реанимации? Отгадка крутилась в мозгу совсем уже близко — он почти вспомнил, — но лестница кончилась, и он вновь погрузился в суматоху работы.

Кроме него, в приёмном теперь работал ещё один врач, присланный на подмогу. Когда подняли в реанимацию самых тяжёлых больных, обстановка чуть разрядилась, по крайней мере, никто не умирал прямо в эту минуту, у них на глазах. Но всё равно, больных оставалось много, и с каждым надо было срочно что-то решать. Хорошо, что смена не первая, и Руднев более-менее освоил порядок действий с лёгочными больными. Сначала нужно оценить сатурацию: то, насколько насыщена кровь кислородом. Затем больных

помещали в трубу томографа, и через несколько минут монитор показывал картины лёгочных “срезов”. “Да, вот оно, “матовое стекло”, — вглядывался Руднев в расплывчатые разводы, что пятнали лёгочные поля. За этими пятнами лёгкие казались так же размыты, как и всё окружающее за стёклами запотевших очков. И опять эта мысль — что вирус поражает не только лёгкие больных, но и вообще весь мир, — пришла доктору в голову. Поэтому и пандемия, что поражается всё...

Карусель работы крутилась без остановки. В приёмное заводили или завозили очередного пациента, Руднев бегло оценивал его состояние — опрашивал, измерял сатурацию, пульс и давление, записывал всё это, чтоб не забыть, на отдельный листок — а затем сёстры доставляли больного в кабинет компьютерной томографии. В целом это напоминало то, как Руднев работал в приёмном раньше; вот только теперь его больше интересовали не животы, как когда-то, а лёгкие. Так много кашлявших и задыхавшихся больных сразу Руднев ещё не видел: словно некая беспощадная и коварная сила решила отнять у людей самое главное — воздух.

Рудневу и самому становилось всё труднее дышать. Респиратор, насытившись влагой, пропускал воздух всё хуже; а двигателю приходилось много: то помогать перекатывать через порог носилки, то осматривать пациентов, то присаживаться к компьютеру, чтобы через пару минут встать и спешить в кабинет компьютерной томографии — и уже через час суматошной работы Руднев чувствовал себя, почти как когда-то на стадионе, во время забега. Было тесно и жарко, ноги налились тяжестью, а воздух, который он шумно вдыхал сквозь респиратор, казался пустым, и его не хватало. Помогала привычка терпеть — то главное, что Руднев приобрёл за пятьдесят семь лет жизни.

Но едва ли не более, чем нехватка воздуха, Руднева раздражали проблемы, что возникали с компьютером. Ведь ему, принимая больных, приходилось печатать жалобы и анамнез, заносить в базу данных результаты осмотра и всех проведённых исследований, да ещё и расписывать план лечения. С одной стороны, это было формальной и канцелярской работой, но и без неё нельзя обойтись. “Это тебе, приятель, не оперировать: тут думать надо!” — говорил Руднев мысленно себе самому, то тыкая толстыми от перчаток пальцами в клавиатуру, то двигая “мышью” — от спешки курсор то и дело промахивался, — то раздражённо стирая ошибки.

Но как он ни торопился, курсор по экрану двигался куда медленнее, чем это хотелось бы Рудневу и чем требовала вся нервная обстановка. Ко всему, компьютер всё чаще тормозил: то стрелка не слушалась “мыши”, то курсор замирал, мигая, на одном месте. Можно было подумать, что кто-то незримый, сидящий в компьютере, дразнит Руднева и мешает работать. “Чтобы сдох! — злился доктор, колотя по клавиатуре. — Мало мне вируса, что поражает больных, так теперь ещё и компьютерный!”

Но пока он пытался справиться с непослушным компьютером и с потоком больных, во всём корпусе вдруг погас свет! В первый миг все замолкли, а потом темнота огласилась испуганными голосами. “Помогите!” — кричали больные; “Куда позвонить?” — бегали взад-вперёд сёстры; “А ну, прекратите истерику!” — пытался перекричать всех Руднев. Но его голос, приглушённый респиратором, был слышен плохо. Тьму озаряли только экраны мобильных — сестра с санитаркой пытались вызвать аварийную службу — да освещали окно фары “скорых”, которые продолжали одна за другой подъезжать к больнице. Без электричества совсем крышка. Ладно здесь, а каково сейчас в реанимации? Без дыхательных аппаратов больные начнут помирать один за другим...

Конец света, к счастью, длился недолго. Уже минут через пять снова вспыхнули лампы и засветились экраны компьютеров. Но на оживших мониторах творилось что-то совсем уж несуразное. По экранам плавали красные точки, которые то сливались в багровые пятна, то вновь разлетались в кровавые брызги. “Неужели коронавирус проник и в компьютер?” — невольно думал Руднев, пристально глядя в мерцающий монитор.

Он плохо уже понимал, как давно началась его смена и как скоро она закончится. Казалось, он целую вечность работает здесь, в красной зоне. И он, сколько помнит себя, занимается только расспросом больных, измерением оксигенации крови, изучением “матовых стёкол” на экране томографа и тыканьем пальцев в клавиатуру, отчего курсор на мониторе движется судорожными рывками. К нехватке воздуха и к зуду вспотевшего под комбинезоном тела он тоже привык: это всё воспринималось, как неизбежное, хоть и неприятное условие существования. Жить отныне и означало испытывать зуд и одышку, и ещё выносить ту тоску, что наваливается на дежурного доктора в полночь, когда ему кажется: время остановилось, а он сам завис словно в зазоре между реальностью настоящего и собственным прошлым, которое не отпускало его. Окружающий мир расплывался и таял, становился нечётко-размытым, зато воспоминания, всё чаще являвшиеся ему, обретали тяжеловесную достоверность реальности. Так, когда он опять поднимался в реанимацию (пока сестра была занята оформлением очередного больного, Руднев сам решил отнести наверх истории тех, кто поступил в самом начале смены) и когда перила, ступени и стены медленно, словно тоже с одышкой, двигались навстречу ему, вспомнилось, как он взбежал вот по этим ступеням лет тридцать назад. Тогда азарт и напор жизни в нём был таков, что казалось: он легко добежал бы не то, что до четвёртого, а и до сорок четвёртого этажа. Но даже сейчас, несмотря на свой грузный шаг и одышку, ему почудилось, что он снова молод, точнее, что внутри его старого тела опять оживает тот парень, поджарый и неутомимый, каким Иван Руднев был когда-то давно. Это странное разделение на старика и юношу вновь удивило его. “Может, это от гипоксии? — спросил Руднева врач, всегда живший в нём. — Интересно, какая сейчас сатурация у меня самого?”

Потом он вспомнил, что и в общаге была похожая лестница — и вот на такой же площадке, как эта, они с Милой провели немало часов. Теперь он, поднимаясь, видел уже не зелёные прутья перил и не стоптанные ступени, а смеющийся взгляд карих глаз. Потом, пробиваясь сквозь шелест костюма, в ушах зазвучал и её торопливый, всегда как бы чуть задыхавшийся голос. Да, голос и взгляд вспоминались ярче всего, ведь именно голос и взгляд хранят сокровенную и неизменную суть человека. Мила смотрела сейчас на него с лёгкой усмешкой, словно спрашивая: что ж ты, мол, Ваня, так постарел? И Руднев, продолжая грузно шагать, развёл руками, словно оправдываясь: да вот, как-то так получилось...

Увлечённый незримым общением с Милой, он почти не заметил, как мягко хлопнули створки дверей, пропуская его в реанимацию. Здесь его окружало — хоть и в тумане — привычное: ряд коек, шланги дыхательных аппаратов, стойки капельниц и несколько белых фигур в мешковатых комбинезонах. Но воспоминания так накладывались на реальность, что Руднев продолжал видеть Милу, чьё лицо неотступно плыло перед ним. Вот её лик совместился с белой фигурой, которая обернулась к нему — и он, зацепившись за что-то бахилой, пошатнулся и чуть не упал. Кое-как устояв на ногах, он снова взглянул на фигуру в комбинезоне. На него сквозь очки и сквозь пластик маски смотрели живые, смеющиеся карие глаза. “Я что — брежу? — подумал Руднев. — Или устал до того, что мне всюду мерещится Мила?”

— Здравствуй, Ваня, — услышал он голос, до боли знакомый. — Ты что, меня не узнаёшь?

Руднев хотел ущипнуть себя за ухо, чтобы проснуться, но мешал комбинезон. Чувство, что он видит сон, не оставляло его даже тогда, когда Мила, — а это была, несомненно, она — тормозила его за плечо.

— Ты что, правда меня не узнал? — смеясь, повторяла она. — Вот и я не сразу узнала — ну, когда ты забежал сюда в первый раз. Спросила, а мне говорят: да, это доктор Руднев...

— Ну, а ты... Ты-то как здесь? — с трудом проговорил он.

— Сейчас расскажу... Девочки! — крикнула Мила. — Возьмите истории — нам с доктором нужно поговорить.

Они отошли к окну. Мила держала Руднева за локоть, словно боялась, что он исчезнет; а Руднев не понимал, где находится: в реанимации или в своей давней юности, где он вот так же стоял с Милой возле окна и слушал её торопливый, счастливый, смеющийся голос.

— Представляешь, тётку приехала навесить: ей уже девяносто, но старушенция бодрая. А тут хлоп — пандемия! Тётка, ясное дело, на изоляции — из дома ни шагу. Так мало того, из Москвы позвонили: больничка, где я работала, закрылась на карантин, и я пока там не нужна. А ты ж меня знаешь: я без дела сидеть не могу. Чего бы, думаю, здесь пока не поработать? Каждый реаниматолог сейчас — на вес золота. Документы мне сын из Москвы переслал — вот я к вам и устроилась!

— Надолго? — у Руднева пересохло во рту.

— Пока на месяц, а там видно будет.

— А живёшь где? У тётки?

— Пока у неё. Хотя это, конечно, неправильно, раз я в красной зоне работаю. Но мне обещали, что завтра поселят в гостиницу. Ты-то, Вань, как?

— Как видишь — живой...

— Боже мой, Ваня! — воскликнула Мила, обняла его, и Руднев даже сквозь два комбинезона почувствовал, как она горяча и как часто, взволнованно дышит.

И всё-таки он не понимал, что случилось и откуда здесь Мила, которая, ухватившись рукой за его плечо, продолжала что-то рассказывать...казалось, что внутри шелестящего балахона не его пожилая ровесница, а всё та же смешливая девушка, какой была Мила лет сорок назад. “Неужели это всё действие красной зоны? — думал Руднев, не отводя взгляда от карих, блестящих глаз Милы. — Значит, есть место, где времени нет и где всё сохраняется точно таким, каким оно было когда-то?” Он был уверен, что Мила под комбинезоном всё та же: горячая, крепкая и молодая. Об этом ему говорил и её сияющий взгляд, и взволнованный голос, и, главное, сердце самого Руднева, которое билось так, как не билось давно.

Последний час ночной смены прошёл, словно во сне. Руднев существовал как-то сразу и в настоящем, и в прошлом: в приёмном покое, среди медсестёр и больных — и в комнате их общежития, которая вспомнилась до мелочей отчётливо. По сути, в той комнате он сейчас и находился, но в ожившие воспоминания, досаждая ему, время от времени врываются обрывки реальности. Вот он стоял посреди их студенческой комнаты, обнимал полуголую Милу — на ней только рубашка Ивана, — и вдруг к ним прямо сквозь стену въезжала каталка с очередным пациентом. Рудневу приходилось сделать усилие, чтобы оторваться от Милы — и почти машинально записывать жалобы и анамнез, измерять давление и сатурацию, а затем, по многолетней привычке хирурга, проминать живот пациента, перемещая ладонь от левой подвздошной области к правой. Мила ждала, пока он закончит осмотр, запахнувшись в рубашку, которая очень ей шла. А как только сестра с санитаркой укатывали носилки — стена общежития вновь смыкалась за ними, и для Руднева в мире опять оставалась одна только Мила: её смех, её торопливый взволнованный голос, и её молодое, горячее тело...

34

После душа он сидел в “кормушке” за круглым шатавшимся столиком и ждал Милу. В том, что она непременно зайдёт сюда, он не сомневался — хоть они и не успели договориться о встрече. Вокруг, несмотря на глухую ночь, было шумно: расхаживали и смеялись врачи и медсестры — все были много моложе Руднева, — но к нему никто не подажживался, словно догадываясь, что этому пожилому доктору сейчас не нужны застольные собеседники.

Руднев ждал Милу и думал о том, как ей, наверное, непросто решиться на предстоящую встречу. Ведь женщинам много сложнее скрывать свои годы, чем нам, мужикам. Одно дело жилистый и ещё крепкий старик, а другое — старуха такого же возраста.

Но он понимал и то, что многое, если не главное, в их предстоящей встрече — уже без маскарадных защитных костюмов, в которые их нарядила красная зона, — зависит от его собственного взгляда. Насколько он сможет увидеть ту, прежнюю Милу сквозь её теперешнюю постаревшую оболочку, настолько же молодой ощутит себя и она. Чувство, что возраст Милы находится словно в его, Руднева, власти, почти испугало его. Что, если он не сумеет вернуть Миле её молодость? Но с другой стороны, он совершенно не мог представить её постаревшей; и надежда на то, что время не властно над Милой, укреплялась в нём с каждой минутой.

Карман полотняной просторной рубахи Руднева оттягивала коньячная фляжка, к которой он пару раз основательно приложился. Есть не хотелось совсем, лоток с жареной рыбой так и оставался перед ним нетронутым. Около четверти часа он просидел, поглядывая на дверь и прислушиваясь к шагам в коридоре.

Вот так же в молодости он множество раз ждал Милу — то в общаге, то в библиотеке, то на скамье городского парка — и переживал: да что же она не идёт? Но вместе с досадой и нетерпением он испытывал наслаждение от самого ожидания. В том, что Мила, в конце концов, всё же появится, он не сомневался — на свидания она приходила всегда, хоть порою и с опозданием, — как не сомневался и в том, что в его жизни вряд ли будут минуты блаженнее, чем вот это щемящее, всё нарастающее в нём предощущение встречи. Тогда и весь окружающий мир напрягался и словно вибрировал — в ожидании Милы. И эти деревья старинного парка, в кронах которых звенели синицы и мелко дрожала листва, и эти прохожие, что так озирались, как будто искали кого-то, и эти лужи, морщившиеся от беспокойных порывов ветра, — всё вокруг Руднева исходило таким же томлением, что он ощущал и в своём туго бившемся сердце.

И вдруг, словно с облегчением долгожданного вдоха после удушья, он увидел ладную, торопливо шагающую фигурку. У Милы, спешащей к нему на свидание, даже походка была полна радости; она словно сама изумлялась тому, как легко у неё получается всё: и перепрыгивать лужи, и пробегать, балансируя, по бетонным поребрикам, и хохотать, и кидаться на шею Ивану. Казалось, что ласковый ветер, ворвавшийся в парк вместе с ней, закружил их обоих, и этот порыв унёс всё, кроме смеха, сияющих глаз и дыхания Милы...

...Руднев вздрогнул, почувствовав точно такой же упругий и ласковый ветер, который внёс в комнату Милу. Время словно замедлилось — и, пока она приближалась к нему, Руднев успел поразиться тому, до чего же она моложава. И радостный смех, и сияющий взгляд, и порывистые движения — всё было точно таким же, как прежде. Вот только морщины в углах глаз и рта выдавали истинный возраст, да короткие волосы (ещё не просохшие после душа) были того печального, хоть и красивого, цвета, что называется “перец с солью”.

— Смотришь, какая я стала? — улыбнулась она, подойдя и положив горячую руку на плечо Рудневу. — Уж конечно, не помолодела...

— Да что ты, Мила, — накрыл он её руку своей, тоже горячей. — Ты с виду просто девчонка!

— Ну, ты же знаешь: маленькая собачка — до старости щенок! — она засмеялась так весело, что нельзя было не засмеяться с ней вместе.

— Садись, — пододвинул Руднев стул. — Коньячку выпьешь, за встречу?

— А как же! Ты, смотрю, уже приложился?

— Так, самую малость. Не поверишь: волнуюсь, как мальчик!

— Я, Ваня, тоже, как девочка...

Он и забыл, до чего же весь мир рядом с Милой становится словно светящимся — тем же самым живым, тёплым светом, каким светились её глаза и улыбка. Руднев ощущал себя снова двадцатилетним и ничуть не

смущался того, что держит Милу за руку и неотрывно смотрит в её глаза: ему не было дела ни до собственного возраста, ни до взглядов и мнения окружающих.

С Милой, похоже, происходило нечто подобное. Её глаза блестели, голос и руки дрожали, а на губах блуждала недоумевающая улыбка: она тоже испытывала мгновенное и ошеломляющее перемещение в юность.

Как это бывает при встрече людей после долгой разлуки, следы возраста на лицах друг друга им были заметны только несколько первых минут; но скоро сквозь постаревшие оболочки стали проступать их прежние облики, и сознание каждого воспринимало лишь эту неожиданно воскрешённую юность, не замечая того, что сделала жизнь с их телами и лицами. Руднев видел перед собой не пожилую женщину с пепельно-серой стрижкой, сетью морщин возле глаз и рта, а двадцатилетнюю девушку со светящимися глазами. Мила же, в свой черёд, видела не пожилого мужчину с бритым черепом, с небольшим перекосом лица (она, врач, сразу отметила это) и с привычной гримасой усилия, что искажала его, а видела двадцатилетнего юношу, который с таким восхищением смотрел на неё, что ей делалось страшно и весело одновременно...

35

“И как я жила без Ивана?” — с изумлением думала Мила. Она, не отрываясь, рассматривала его теперешнее лицо — седую щетину, морщины и вздутые вены под кожей висков, — словно ревнуя Ивана теперешнего к собственному воспоминанию о нём, молодом. “Конечно, он уж не тот”, — с печалью и жалостью отмечала она и тут же, с нахлынувшей радостью, видела: да нет же! Он тот, каким был!

Её память стремительно побеждала и вытесняла реальность. Перед ней сидел не пожилой человек, измученный трудной ночью и прожитой жизнью, а худощавый двадцатилетний юноша, смотревший на Милу с такой откровенной радостью и восхищением, что у неё начинало ныть сердце. “И как я жила без него?” — снова и снова крутилось в голове Милы, и вся её долгая жизнь начинала ей видеться одновременно, будто она, наконец, рассмотрела её с высоты, как летящая птица.

Да, в её долгой жизни было неожиданное. После обидной разлуки с Иваном — замужество и отъезд за границу, рождение сына, развод, возвращение в Москву, потом новый муж — вот это золотой человек! — и его смерть от инфаркта, было много работы, бессонных ночей, несколько быстрых служебных романов, но все эти годы сейчас вспоминались, как сон или фильм, который Мила смотрела сама о себе, сочувствуя главной его героине, но и понимая, что всё, о чём он повествует, является только частью её истинной жизни.

Теперь-то ей стало ясно: она никогда не переставала любить и помнить Ивана. Да, жизнь их развела, и они потеряли друг друга на многие годы. Мила знала лишь то, что Иван распределился в какой-то глухой городок на Урале, а затем его след пропал совершенно, но даже не сознавая того, где-то в тайных глубинах души Мила продолжала общаться с Иваном. Так, всех мужчин, кто возникал в её жизни на долгое или короткое время, она сравнивала именно с ним, словно Иван был для неё безоговорочным эталоном мужчины. Один слишком высок — потому что выше Ивана; другой низковат — потому что ниже него. У одного Мила видела уши Ивана, у другого — манеру Ивана прищуривать взгляд, а у третьего оказывался голос с такой же волнующей, как у Ивана, хрипотцой.

Да что говорить! Даже сын её, Алексей, когда чуть подрос, и в нём стали проступать черты взрослого облика (а они проступают порой уже в пятилетнем ребёнке), — даже сын в глазах Милы напоминал ей скорей не родного отца, а Ивана. Тот же взгляд с характерным прищуром, та же манера замолкать и задумываться посреди разговора, будто бы все забывая о собеседнике (хотя нить разговора он не терял никогда), и та же усмешка одной половиною рта, что и у Ивана. Может, ещё и поэтому Мила души не

чаяла в сыне, что он напоминал дорогого ей человека и позволял продолжать неуловимо-незримое общение с ним?

Она не забывала Ивана, даже когда ей казалось, что она совершенно забыла его и что он навсегда исчез из её жизни. И она никогда не встречала — хоть жизнь была долгой, и разных встреч много — таких настоящих мужчин, как Иван. Что это значило — быть настоящим мужчиной — она и сама себе не могла объяснить; но именно интуитивное ощущение — настоящий мужик перед ней или нет? — было главной меркой, с которой она подходила к мужчинам. Иван был, без сомнения, настоящим — куда более настоящим, чем все, кого она знала потом. В нём словно звенела струна напряжённой тоски по тому, чего эта реальность и жизнь дать не могут, и Миле, когда она ощущала в Иване напряжение этой незримой струны (а она ощущала её почти непрерывно), хотелось утешить Ивана, хотелось хотя бы немного ослабить его напряжение, а не то струна его жизни вот-вот оборвётся! И Мила знала единственный способ, старый, как мир, каким женщины могут утешить любимого ими мужчину: безоглядно отдать ему своё тело и душу...

“Какое же счастье, — думала Мила, не убирая руки от горячей и нервной ладони Ивана, накрывшей её чуть дрожащие пальцы, — какое же счастье, что эта чума, поразившая мир, снова свела нас вместе! Страшно подумать, что я могла дожить жизнь, так и не встретив его. А ведь я уже, честно сказать, начала забывать этот голос и это лицо: вот как забыла бы их совершенно — так бы, наверное, и умерла...”

Зато сейчас память, стремясь наверстать и восполнить всё то, что она позабыла, накрыла Милу горячей волной. Ей сразу вспомнилось многое: образы прошлого словно толпились у тесных дверей её памяти, и вдруг они разом ворвались в сознание Милы и затопили его своим разнообразным, живым, ничуть не потускневшим от времени содержанием. Иван сидел сейчас перед ней, неотрывно смотрел ей в глаза, что-то рассказывал, спрашивал, она отвечала, смеялась, о чём-то спрашивала сама, но его постаревшая оболочка ничуть не мешала видеть Ивана таким, каким он был прежде и каким всегда оставался в её восприятии. “Неужели он и меня видит прежней? — с замиранием сердца спрашивала Мила себя, и сама же себе отвечала: — Конечно, он видит меня молодой... Иначе бы так не светился его восхищённый взгляд — как мне знакомы эти волчьи глаза! — и в его хриплом голосе не звучала бы такая живая и откровенная сила желания...”

36

Их глаза, шаря по лицам друг друга, вели свой разговор, в то время как ошившие от усталости и волнения голоса говорили своё.

— ...так что я завтра — нет, уже сегодня! — рассказывала Мила о своих планах, — переселяюсь от тётки в отель. Наконец-то не нужно будет ни стирать, ни готовить. Ты же помнишь: бытовую возню я всегда терпеть не могла!

— А как же ты жила замужем? Кто на кухне возился?

— Как кто? Мужья, — смеялась она. — Мне с ними везло: все попадались хозяйственные.

— И много их было?

— Нет, всего два. Но первый ушёл к молодой, а второй, Сергей, умер два года назад.

— Сердце?

— Да, сердце...

Воспоминание о мужьях ненадолго сделало Милу печальной — словно тень набежала ей на глаза, — но скоро она вновь светилась.

— Что я, Вань, всё про себя! Ты-то как?

— Ну, как... — вздохнул Руднев. — Я тоже один.

— Да ты что? — округлила Мила глаза. — Овдовел?

— Нет, в разводе.

— И как же так получилось?

— Теперь уже и неважно...

В паузу, что повисла меж ними, вместились немало: и воспоминания об оставшейся в прошлом семейной жизни, и ещё не утихшая радость от встречи, и удивление оттого, что эта встреча застала их снова свободными.

— Выпьем ещё? — поднял Руднев коньячную фляжку.

— Да, конечно... Вань, а ты меня вспоминал?

— Ещё как...

Как легко было им говорить в самом начале их неожиданной встречи, так же трудно теперь произносить слова, которые — каждый чувствовал это — нисколько не выражали того, что творилось в их душах. Да и как выразить целую жизнь и всё то, что в ней вместилось, — жизнь, которая их развела, а теперь неожиданно, то ли в награду, то ли в насмешку, опять свела вместе?

“Куда подевались те сорок лет, что я прожил без неё? — думал Руднев, всё больше хмелея и всё больше волнуясь. — Словно не было у меня ни семьи, ни работы, ни всей той мороки, которая называется жизнью и которая так, признаться, уже опостылела и надоела... Словно мы с Милой растались только вчера, потом я заснул — сон был путанный, тяжкий, тревожный, — а теперь вот проснулся и не могу намотреться на эти глаза и улыбку...”

К тому времени, как они допили коньяк, “кормушка” совсем опустела. Но из палат, превращённых в комнаты отдыха, с чёрных лестниц, из коридора и туалетов ещё доносились ночные невнятные звуки: гудение жизни, которая хоть и устала, но никак не хотела утомиться. Вот точно так же и в их общаге гулко разносились шаги по ночным коридорам, так же гудели водопроводные трубы, и взрывы смеха слышались то за одной, то за другой дверью. “Неужели я снова в молодости? — думал Руднев, ещё не вполне доверяя впечатлениям удивительной ночи. — И неужели сейчас повторится всё то, что уже случилось когда-то?”

Похоже, что всё повторялось. Он снова брал Милу за горячую руку, она легко и послушно вставала из-за стола, и они снова шагали куда-то сквозь гулкую пустоту коридора, а двери палат, как когда-то и двери общаги, проплывали слева и справа. Потом они снова стояли на чёрной лестнице, неотличимой от лестницы их общежития, и целовались так торопливо, почти неумело, как целуются лишь молодые. Они словно боялись, что их вот-вот заметят, поднимут на смех и погонят отсюда; но боялись-то, в сущности, даже и не людей — кто бы их осудил? — а смущались самих же себя, своей поздней, так неожиданно вспыхнувшей, страсти...

— Вот идиоты, — шептала Мила, когда их поцелуй прерывался. — Представляешь, увидят: старик со старухой целуются? Вот смеху-то будет...

— Ничего, эта больница видела и не такое, — бормотал Руднев, сам не узнавая своего хриплого, сдавленного голоса...

37

Он проснулся с таким чувством радости в сердце, какого давно не испытывал. Только в детстве ему доводилось просыпаться в состоянии столь же счастливом, когда он испытывал наслаждение от каждого вдоха и выдоха и от каждой мысли, что проплывала в его голове. Причём небольшая похмельная тяжесть ничуть не мешала, а помогала этим мыслям существовать, придавая им основательность и достоверность. Вспоминал ли он что-нибудь из прошедшей ночи, — а оно обязательно было связано с Милой, — или предавался мечтам, в которых звучал тот же смех и светились те же глаза, — всё было прекрасным, и всё это снова вернулось в его одинокую жизнь.

Соседи по комнате один за другим просыпались, вставали, разговаривали и смеялись — и Руднев почти не удивлялся тому, что это не его однокурсники, а молодые ребята, ему едва знакомые. “Какая, в конце концов, разница? — думал он, сладко потягиваясь. — Главное, что мы с Милой — всё те же...”

Умываться Руднев нарочно шёл не спеша, с молодым интересом поглядывая в приоткрытые двери женских палат, за которыми слышался смех

и мелькали полуодетые девушки. “Вот почему, — удивлялся он, — женская нагота до сих пор так меня привлекает? Уж казалось бы, на голых баб я насмотрелся: и как хирург, и как мужчина. Иной за всю жизнь не увидит их столько, сколько я видел за месяц. А вот поди ж ты: до сих пор, как увижу красивую грудь или ноги — так у меня от волнения пересыхает во рту. Всё же есть, есть в женщинах тайна, которую нам, мужикам, никогда не постичь...”

Из туалета Руднев вышел совсем уже бодрой и моложавой походкой, словно не было позади ни двух трудных смен, ни встречи с Милой, ни хмельных посиделок в “кормушке”. Впереди у него маячило двое свободных суток: и уж этот-то отдых он, без сомнения, заслужил. Мила, он знал, рано утром уехала, чтобы заселиться в отель, где размещали работников красной зоны, по возможности изолируя их от обычных людей.

Планёрки всегда были важной частью больничного дня. И пока конференц-зал наполнялся людьми, Руднев, пришедший одним из первых, вспоминал о планёрках прошлого — о тех временах, что ныне казались почти легендарными. По тому, как проходили и как менялись планёрки, можно изучать историю их больницы и чуть ли не всей медицины страны.

Он часто с нежностью вспоминал и людей, и черты той эпохи. Больница тогда была для него вторым домом, и врачебное их сообщество жило, как одна большая семья. А планёрки являлись утренним сбором этой семьи, неизменно дружной и доброжелательной. Проблемы и ссоры, если они и случались, — какая семья живёт без противоречий? — решались вот именно, что по-домашнему. Старшие могли по-отечески пожурить молодёжь, а самым серьёзным наказанием было отстранение от операций на несколько дней, отчего жадные до работы молодые хирурги впадали в отчаяние. Во время отчёта дежурных бригад или при обсуждении сложных больных коллеги делились друг с другом не просто мыслями или опытом, но самой энергией жизни. Никогда молодому доктору Рудневу так не хотелось скорей встать к столу или распутывать непростые клинические ситуации, как после тех утренних шумных, весёлых планёрок.

Но времена изменились, и вместо уютной эпохи застоя настала эпоха иная, бестолковая и беспощадная. Больница тогда превратилась почти в медсанбат: всё чаще к ним поступали пациенты не с аппендицитами или холециститами, а с ножевыми или пулевыми ранениями. И, как на настоящей войне, не хватало инструментов, медикаментов, перевязочного материала. Планёрки в те годы больше напоминали сводки с полей сражений: всё чаще звучали тревожные вести о том, что, как ни трудно больнице сейчас, дальше, скорее всего, будет ещё хуже.

Возраст и опыт научили Руднева, что кончается всё — даже плохое. С годами жить стало спокойнее, бинты и лекарства перестали быть дефицитом, и теперь мало кто из хирургов мог похвастаться тем, что на дежурстве он оперировал, скажем, ножевое ранение сердца. Но вот планёрки, на рудневский взгляд, заметно испортились, потому что из них ушла жизнь. Они стали длинными, нудными и пустыми. Начальство требовало всё более многословных, подробных докладов: отчёты о жизни стали важнее, чем сама эта жизнь. А после дежурных докладов приходилось ещё и выслушивать проповеди главного врача о том, как доктора нерадивы, неграмотны и нерасторопны. “Или это всё оттого, — вздыхал Руднев, — что мы сами сделали старшие и хуже, нам поэтому кажется, что испортились люди, нравы и времена?”

Конференц-зал наполнялся народом. Руднев почти никого здесь не знал — лишь несколько старожилков больницы заулыбались, увидев его, и подошли позжать руку. “Ну, как ты, Михалыч? — Нормально! — Вернулся? — Как видишь. — Здоровье-то как? — Да грех жаловаться... — Ну, ты орёл!” — примерно таким был каждый из диалогов, и Рудневу было приятно узнать, что его здесь ещё помнят.

Сама же планёрка, как это ни странно, напоминала ему давно минувшие времена. Доктора выходили докладывать свободно и раскованно — даже халаты на плечи были наброшены вольно — и говорили, ничуть не смущаясь присутствием главврача и начмеда. Вот что значит полувоенная

ситуация! Когда обстановка серьёзная, уже не до пустой болтовни и не до формальностей. Теперь даже тупым чиновникам ясно, что доктора — это самые главные люди на свете...

А ситуация в самом деле с каждым днём усложнялась. Хуже всего то, что катастрофически не хватало дыхательных аппаратов: и в их больнице, и в городе, и в стране, да и во всём мире. А кислород и искусственная вентиляция лёгких были единственным, что давало тяжёлым больным хоть какие-то шансы — увы, небольшие. Эффективность лекарств, которыми предлагалось лечить коронавирусную инфекцию, была под очень и очень большим вопросом, их назначали скорее от бессилия и от незнания того, как же справиться с чёртовой этой заразой. Вакцина? Но вакцина — это спасение не для больных, а для здоровых; да и о ней говорить пока рано. На её разработку, проверку, внедрение в практику уйдут многие месяцы, а ускорить этот процесс всё равно, что ускорить беременность. “Пока солнце встанет, — вспомнил Руднев любимую поговорку своей бабки, — роса очи выест...” Доктор даже поёжился, ощутив на спине холодок, но не от обычного сквозняка или просыхавшего пота, а от ошущенья громадной беды, нависавшей над всеми и угрожающей каждому. Руднев впервые ясно представил, как и он сам может оказаться на искусственной вентиляции — да и то, если будут свободные аппараты — и отбывать в лучший мир с дыхательной трубкой, торчащей во рту.

Главный врач говорил о нехватке свободных коек и необходимости как можно скорее выписывать тех пациентов, у которых нет дыхательной недостаточности, но Руднев уже не слушал его. Он то вспоминал, что случилось в минувшие сутки, то думал о Миле — интересно, достался ли ей одноместный номер? — то снова прислушивался к себе, удивляясь тому, как чувство вернувшейся молодости возбудило в нём и страх смерти, прежде ему незнакомый. “Теперь мне есть, что терять и чем дорожить, — думал он. — Не повстречайся я снова с Милой — на кой бы ляд мне нужна была эта самая жизнь?”

— Ну, всё! — завершая планёрку, ударил ладонью о стол главный врач. — Положение хоть и серьёзное, но панику разводить ни к чему. Будем работать, а там — что Бог даст...

Доктора, обсуждая последние новости, расходились. Кто отправлялся домой отдыхать после суточной смены, а кто-то шёл облачаться в защитный костюм, чтобы вновь выдвигаться в красную зону.

В кармане Руднева завибрировал телефон, засветился экран, и он прочитал сообщение: “Заселилась в отель. Приезжай в гости. Мила”.

38

Казалось, белый “фольксваген” не выезжает, а вылетает на просторную, всю в майской зелени окраину города. Шоссе в этот час оказалось пустынным — коронавирус расчистил дороги от автомобилей, а небеса от самолётов — и таксист-узбек гнал, как бешеный, радуясь редкой возможности показать свою ураль.

— Брат, куда разогнался? — спросил его Руднев. — К аллаху торопиться?

— Зачем к аллаху? — улыбнулся молодой смуглый водитель. — Я слышал, русские любят быструю езду!

— Это верно, — кивнул Руднев. — Но ты всё же поаккуратнее, мне ещё жизнь дорога...

Таксист сбросил скорость до ста двадцати, но всё равно они словно летели над лентой шоссе меж зеленевших, вздымавшихся и опадавших полей. “Земля словно дышит, — любовался Руднев просторными видами. — Уж ей-то, родимой, ни к чему дыхательные аппараты...” В это свежее майское утро Рудневу вновь начинало казаться, что его жизнь начинается с чистого листа — такого же чистого, как синева неба или зелень полей и мелькающих по сторонам перелесков. Уже и не верилось, что где-то есть красная зона, есть ужас в глазах задыхавшихся пациентов, есть мерные гулы дыхательных

аппаратов и трупы, завёрнутые в плёнку, — есть то, среди чего он провёл миновавшие сутки и что вскоре вновь его ожидало. “А ну его к лешему! — подумал Руднев о том плохом, что угрожало ему и всем людям на свете. — Если всё время держать в уме смерть, то и жить не захочется...”

— Сколько зелени! — восхищался таксист, поглядывая то в окно, на поля с перелесками, то в зеркало, где отражалось уставшее, серое, волчье лицо его пассажира. — И всё растёт само по себе: не то, что у нас в Бухаре, где нужно полить и водою, и собственным потом каждый клочок. Удивительная земля — Россия! В Бухаре не случалось бывать?

— Случалось. И в Бухаре, и в Самарканде.

— Ну, и как вам?

— Красивые города. Главное — люди очень хорошие...

39

Скоро впереди замаячил зеленовато-серый куб отеля “Амбассадор”, построенного недавно при большом автомобильном заводе. Таксист лихо развернулся у входа и затормозил; Руднев расплатился и вышел, сказав на прощанье весёлому парню:

— Будь здоров, брат! Думаю, ты ещё будешь меня сюда подвозить.

В холле пришлось надеть маску — такие правила теперь повсюду, — и вежливый толстый портье спросил Руднева:

— Вы доктор? Из красной зоны? Заселяетесь к нам?

Руднев, секунду подумав, ответил одним-единственным “Да!” — на все три вопроса. “В самом деле, — пришла ему мысль, — отчего бы мне и не переехать в отель, раз уж нас, медиков, селят бесплатно? И Мила рядом, и кормят, я слышал, неплохо...”

Паспорт у Руднева был при себе, а его фамилию портье быстро нашёл в списке сотрудников красной зоны, которым не просто было разрешено, а предписывалось жить в отеле, в изоляции от прочих смертных.

— Вы пока без вещей? — поинтересовался портье, глядя на Руднева со смешанным выражением любопытства, страха и уважения.

— Да, я их привезу после.

— Хотите посмотреть номер? Кстати, вот телефон, по которому, — подвинул бумажку портье, — можете заказать и обед, и ужин. Еду оставляют у дверей номера.

— Вот даже как? — хмыкнул Руднев. — А выпивкой, часом, не обеспечивают?

— Пока нет. — Даже сквозь маску было видно, как вымученно улыбнулся портье. — Выпивку все приносят свою. Только, пожалуйста, не увлекайтесь, а то у нас здесь вечерами творится бог знает что...

— Хорошо, увлекаться не буду, — пообещал Руднев и добавил, почувствовав, что покраснел: — Скажите, а в каком номере поселилась Людмила Ивановна Лабина?

— В двести шестнадцатом, — портье словно ждал, что Руднев спросит именно об этом.

Ну что: сразу к ней? Или сначала зайти в свой номер, принять душ да оглядеться?

Его номер оказался неподалёку от того, где жила Мила. “Что ж, очень даже неплохо, — осмотрел Руднев стол, кресло, кровать (она была жёсткой, как он и любил). — Ого, да здесь и балкон!” Балкон оказался просторным — на нём стояло ещё одно кресло и небольшой столик, — и с него открывался вид на молодой березняк, поле цветущей сурепки за ним — его желтизна аж слепила глаза — и на дальний лес, темнеющий до горизонта. “Красота!” — Руднев сладко, до хруста в спине, потянулся:

— С такого балкона хоть век не уходи!

Через пару минут он стоял под горячими струями душа. “Что-то часто я стал мыться, — думал Руднев, блаженствуя в сильно шумящем потоке воды. — За сутки уже третий раз, этак я и совсем мою старую кожу и стану другим...”

Ему в самом деле казалось, что он переменялся — и внутри, и снаружи. Когда он смотрелся в зеркало, то в туманном, забрызганном, мокром стекле отражался не столько тот Руднев, каким он действительно был, сколько тот, каким хотел быть, чтобы Мила увидела не старика с дряблой кожей, а молодого, поджарого парня, который смутно угадывался в нечётко белеющем контуре обманчиво помолодевшего отражения...

Он так крепко прижал к себе Милу, что у неё хрустнули позвонки.

— Вань, ты полегче, — закашлялась и засмеялась она. — Совсем раздавил! Погоди, я хоть дверь закрою...

Он не замечал ни морщин, ни чуть расплывшегося тела — ничего из того, чем Мила нынешняя отличалась от себя двадцатилетней. А её глаза так сияли и голос дрожал такой радостью, что, похоже, и ей Руднев казался всё тем же, каким она его помнила.

Штора из тюля как будто дышала, поднимаясь и опадая от тёплого майского ветра. Казалось, что этот же ласковый ветер освобождает их, обнимавшихся и целовавшихся, от одежды. На пол упала рубашка Ивана, на неё соскользнул пояс Милиного халата, а затем и сам шёлковый красный халат с золотыми драконами. Лифчик, почти невесомый, попробовал зацепиться за перекладину стула, но, не удержавшись, тоже упал...

Хоть оба они и казались друг другу прежними, то, что происходило между ними сейчас, мало напоминало былые свидания. Уж не та исступлённая схватка мужчины и женщины — схватка, где нет победителей и побеждённых, но где царят ярость и ослепление страсти, знающей только саму себя. Теперь пожилые любовники думали не о себе, а о другом, которого так неожиданно встретили и боялись опять потерять. Это было уже не сражение, а стремление соединиться настолько, чтобы не оставалось зазора не только между телами — они мягко касались друг друга почти в том же ритме, в каком надувалась и опадала полупрозрачная занавеска окна, — но и между их душами.

Где сейчас была Мила? Конечно, в Иване, в его напрягавшихся и расслаблявшихся мышцах, в его вдохах и выдохах, в его неожиданно помолодевшим и помягчавшим лице, в его восхищённо смотревших на Милу глазах — она различала саму себя в его радужках, — словом, во всём том, что сейчас заполняло её целиком, вытесняя из мира всё прочее, кроме Ивана. В эти минуты она не нашла бы саму себя, своё тело и душу, если б даже захотела, но такого желания в ней не могло и возникнуть, потому что во всём был только Иван, в котором она растворялась решительно и без остатка. Она позабыла бы и своё имя — зачем ей теперь было помнить и знать, как её звали когда-то? — если б оно не слетало снова и снова с его пересохших губ...

А где был Иван? Конечно же, в Миле: в покорных и вместе с тем властных волнах её тела, которые уносили Ивана далеко-далеко от себя самого; в распахнутом взгляде её карих глаз, в которых читались и недоумение, и наслаждение одновременно; наконец, он был в её, Милы, дыхании, которое делалось всё торопливее и горячее... Можно сказать, он и жил её жарким дыханием, оно у них было одно на двоих, и воздух, входящий в его напряжённую грудь, легко выходил из полураскрытых губ Милы, горячо овеивая Ивану лицо.

Мягкие волны соития уносили их далеко от самих себя, но и приближали к себе — тем, какими они оба были ещё до начала времён, которое разделило людей на мужчину и женщину. Для того, чтоб вернуться к самим себе прежним — попасть в мир, где ещё не было смерти, — им оставалось последнее и запредельное, проникавшее друг в друга усилие...

Прошло много времени — или, может быть, совсем мало? — пока Мила, очнувшись, сумела проговорить:

— Что это было? Мы оба умерли? Или оба родились?

— Похоже, и то, и другое... — с трудом отозвался Иван. — С днём рождения, подружка!

Переезд в отель не отнял у Руднева много времени. Он вообще любил собираться в дорогу: неважно, была ли это, как в юности, поездка в соседнюю область на соревнования, сборы в байдарочный поход или выезд в одну из столиц на медицинскую конференцию.

И он всегда чувствовал: уезжая, он словно подводит черту под всей прежней жизнью. Возможно, так звучала в нём гениальная память: по отцу рудневский род происходил из запорожских казаков; а для казака любая разлука с домом могла оказаться последней. Недаром в казачьей традиции было прощаться с женой, выходя из родной хаты даже по самому пустяковому делу. Вот и сейчас Руднев словно прощался с тем местом, где он провёл пять лет после развода, живя аскетической, так подходившей ему жизнью старого холостяка.

Спешить было некуда — Милу вызвали на внеочередное дежурство взамен захворавшего Серебрякова, — и он собирался неторопливо.

Сначала он выпил чаю на кухне, строгий порядок которой ему так нравился. “Ничего лишнего” было его жизненным принципом, и Руднев не допускал в быт ничего, кроме действительно необходимого. “А то знаю я, во что превращается привычка к комфорту, — рассуждал он. — Только дашь слабину, как быт превращается из слуги в господина, и вот уж не он помогает тебе, а ты сам обслуживаешь его. А сейчас у меня всё, как надо: даже водку и чай я пью из одного и того же стакана...”

Правда, серебряный подстаканник — подарок одной из влюблённых в него пациенток — у Руднева всё же имелся, и каждое чаепитие напоминало о поездках и о дальней дороге. Вспоминался и двойной перестук колёс под дрожащим полом вагона, и горький запах угля от растопленного “титана”, и проводница в синей тужурке, несущая сразу четыре окутанных паром стакана плохого железнодорожного чая.

Сам-то Руднев заваривал чай только самый лучший — одна из немногих поблажек, что он себе позволял, — и чаепитие было едва ли не самым любимым занятием пожилого врача. Он отхлёбывал чай не спеша, задумчиво глядя в окно и рассеянно трогая тиснёный рисунок на подстаканнике. Этот рисунок — башня Киевского вокзала Москвы — был так знаком его пальцам, что Руднев, пожалуи, и с завязанными глазами отличил бы свой подстаканник от прочих. Его он, подумав, решил взять с собой, чтобы в безликой обстановке отеля иметь что-то привычное.

Отправляясь в походы, Руднев всегда составлял список необходимых вещей; вот и сейчас он положил рядом с дымящимся чайным стаканом лист бумаги и карандаш. Первым делом он записал самое важное: “телефон, ключи, паспорт, деньги”. В принципе, ничего больше можно было и не брать, тем более что на дворе май, и можно не обременять себя лишней одеждой. Ветровки да свитера будет достаточно, чтоб вечерами сидеть на балконе. Ну, ещё пара футболок да пара трусов, стирать которые можно в отеле. Да, не забыть беговые трусы и кроссовки. В кроссовках, кстати, можно ездить и на дежурства, а в отеле ходить в банных шлёпанцах.

Руднев сам удивлялся тому, как немного вещей ему нужно для жизни. Оставалось приписать зубную щётку и ножницы, очки и походный набор ниток с иглками, да перочинный ножик со штопором — на случай, если им с Милой придётся откупорить бутылку-другую вина. Немного подумав, он снял с полки ещё одну важную вещь: чёрный потрёпанный том Хемингуэя, сопровождавший Руднева чуть ли не всю его жизнь. “Не телевизор же мне смотреть перед сном? — подумал доктор. — В нём-то уж точно, кроме новостей о коронавирусе, ничего интересного не увидишь...”

Уложить сумку оказалось ещё быстрее, чем написать краткий список вещей. “Да, немного я нажил добра, — вздохнул Руднев, посмотрев сначала на небольшую спортивную сумку, а затем окинув взглядом голые стены квартиры. — Можно подумать, что здесь никто никогда и не жил...”

Ему неожиданно стало жаль и себя, и квартиру. “А вдруг я больше сюда не вернусь?” — подумал он, подхватил с пола сумку и вышел на лестницу, громко хлопнув обшарпанной дверью.

Что было делать в отеле без Милы? Руднев бросил сумку в прихожей номера и распахнул балконную дверь. Свежесть майского дня охватила его. Небо сияло, молодая листва шелестела под ветром, а из ближнего березняка доносились соловьиные трели. “В такую погоду грех сидеть взаперти, — подумал Руднев. — Может, побегать?”

Шнуруя кроссовки, Руднев снова порадовался тому, как же удачно он их выбрал. Это была профессиональная беговая обувь, очень лёгкая, с упругой подошвой и колодкой, идеально подходящей к стопе. А в чём только не приходилось бегать в молодости! Те, кто мог раздобыть “Адидас”, считались королями. А так все обычно бегали в брезентовых тапочках на резиновой подошве, они стоили два рубля двадцать копеек. И как-то ведь бегали — даже результаты показывали неплохие...

Сразу за оградой отеля начиналась утоптанная тропа, и Руднев медленно потрусил по ней в сторону берёзовой рощи. После инсульта он опасался бегать в полную силу; хотя, с другой стороны, — думал он иногда, — для него, бегуна, очень даже неплохо умереть на бегу. Не сосчитать, сколько раз он уже умирал, финишируя: когда дышать нечем, а помутившийся взгляд видел только белые клетки разметки, которые приближались мучительно медленно...

Всё это, впрочем, было давно: и хрипящая грудь, и туман в голове, и усилие финиша. Теперь-то он бегал куда осторожнее, не доводя себя даже не то, что до изнеможения, но и до сколько-нибудь серьёзной усталости. Начинал бег всегда еле-еле, трусцой, прислушиваясь и к постепенно разогревавшимся мышцам, и к шуму крови в ушах, и к привычной боли в коленях. Суставы, конечно, сносились — и он замечал это на каждой пробежке. Да и как было им не сноситься, отбегав многие тысячи километров и по грунтовке, и по городскому асфальту, и по покрытию стадионов?

Тропа вывела Руднева из весёлого березняка, где пятна лиственной тени скользили по свежей траве и где сочно щёлкали соловьи, на поле, заросшее ярко-жёлтой сурепкой. К этому времени он уже разогрелся и с наслаждением бежал сквозь медовые запахи и пчелиный клубящийся гул. Погружаясь в неторопливую медитацию бега, Руднев чувствовал, как становится лучше не только он сам, но улучшается весь окружающий мир. С каждой сотнею метров небо делалось словно синее, медовые запахи гуще и слаще, ветер всё ласковей обдувал его голову, а зернистые трели жаворонка обильнее сыпались из синевы.

Неужели и впрямь всё зависит от человека, и, меняя себя, мы меняем весь мир? Получается, в наших собственных силах испортить мир или улучшить, погубить его или, может, спасти?

После сорокаминутного кросса Руднев так повеселел, что ему даже толстый сонный портье в холле отеля показался неплохим парнем. Принимая от него ключи, Руднев чуть было дружески не похлопал этого увальня по плечу.

— Как побегали? — осведомился тот вежливо, словно почувствовав расположение Руднева.

— Отлично!

— Завидую вам, — улыбка портье расплылась шире маски. — Правильной жизнью живёте.

— А вам кто мешает так жить?

— Да так как-то всё... — пожал плечами толстяк. — То семья, то работа, то что-то ещё. Жизнь вообще штука сложная...

— Это вы верно заметили, — засмеялся Руднев. — Ну, бывайте здоровы!

После душа Руднев с наслаждением вытянулся на широкой, пахнущей свежим бельём постели. “Где же Мила? — начинал беспокоиться он. — По всем расчётам, её смена уже закончилась”. Странно, что мысль позвонить

Миле и узнать о причине её задержки даже не пришла ему в голову. Слово он настолько перенёсся душой в свои молодые воспоминания — в те времена, когда мобильников не было и в помине, — что рядом с мыслью о Миле не возникало представления о телефоне.

Наконец он услышал в коридоре шага — и нетерпеливо вскопчил. В том, что шагает именно Мила, он не сомневался: за сорок лет Руднев не забыл её поступь. Только эти шаги были приглушены то ли ковром коридора, то ли усталостью Милы, то ли десятками прожитых лет.

Он появился перед ней неожиданно. Мила вздрогнула:

— Ты меня напугал!

Он поразился тому, каким измученным и постаревшим было её лицо. Хотя удивляться тут нечему: Руднев множество раз видел лица врачей, отдежуривших трудные сутки, — и сам возвращался с дежурств с таким же безжизненным, серым лицом.

— Тяжёлая ночь? — спросил он, обняв Милу.

Не отвечая, она лишь кивнула и положила голову на его грудь. Какое-то время они постояли, обнявшись, посреди коридора, посторонившись лишь для того, чтобы пропустить горничную с её тележкой. Потом Мила негромко сказала:

— Вань, ты меня извини: я сейчас никакая...

Он проводил Милу в её номер и подождал там, пока она примет душ. Номер был точно такой же, как тот, где жил он; и Руднев подумал, что между его собственной жизнью и жизнью Милы тоже нет большой разницы. Оба одинокие пожилые врачи, и оба провели жизнь в больницах, в непрерывной и суматошной работе, в бессонных ночах, в окружении громыхавших каталок, везущих по коридорам тела, — чаще, к счастью, живые, чем мёртвые, — и в той гулкой и напряжённой кафельной пустоте, какая царит в операционных. “Только и разницы, — думал Руднев, — что Мила всю жизнь простояла у изголовья стола, а я — над раскрытым животом пациента. А так-то мы, в сущности, жили почти одинаково...”

Мила вышла из душа, закутанная в два полотенца: одним она, как чалмой, обернула мокрую голову, а в другое завернула себя. Она показалась Рудневу такой маленькой и беззащитной, что захотелось немедленно сделать ей что-то хорошее.

— Хочешь есть? — спросил он.

— Нет, сначала посплю, — мотнула она головой. — А поедем потом, хорошо?

— Как скажешь...

Раскинув руки, Мила ничком рухнула на широкую белую простыню постели.

— Ка-айф... — застонала она. — Представляешь: у меня за смену четыре покойника!

— Впечатляет, — понимающе кивнул Руднев.

Мила пробормотала что-то ещё, но её голос с каждой секундой становился всё более сонным. И вот уже Руднев видел, что Мила спит, обхватив, как ребёнок, подушку руками.

Ему было жаль уходить. Чувство нежности к этой маленькой измученной женщине переполняло его. Осторожно прикрыв одеялом спящую Милу, он прилёг на кровать рядом с ней. Мила дышала ровно и глубоко, и скоро Руднев заметил, что он сам дышит в такт её размеренному дыханию. Он подумал: а что, если и впрямь их дыхание делится как-то одно на двоих? Пока дышал один — дышала другая; и пока спина Милы чуть заметно приподнималась и опадала в такт мерным вдохам и выдохам, Рудневу словно и незачем было дышать самому...

Со следующей смены они дежурили только вместе: Руднев — в приёмном покое, а Мила — в реанимации. Больше того: уже очень скоро им довелось поработать вместе и в операционной.

Каков бы ни был поток больных, но животы Руднев, по многолетней привычке, пальпировал обязательно; вот и этому высохшему, как крыло стрекозы, — похоже, запойному — мужику он положил пальцы на плоский живот и сквозь две пары перчаток почувствовал доскообразное напряжение мышц.

— Так-так, приятель, — Руднев даже оживился, столкнувшись со столь знакомой ему хирургической ситуацией, — расскажи-ка мне поподробнее: как ты заболел?

Но рассказчик из мужика был плохой. Он дышал часто, неразборчиво что-то мычал и отталкивал руки Руднева от своего живота. Межрёберные промежутки западали на вдохе — что было явным признаком дыхательной недостаточности.

— Так, девочки, — поторопил Руднев сестру с санитаркой, — давайте его срочно в рентгенкабинет.

На снимке брюшной полости, как Руднев и ожидал, был отчётливо виден серп свободного газа.

— Значит, прободение полого органа, — заключил доктор. — И лапаротомии ему не избежать. Вот только кто будет его оперировать? В бригаде, насколько я знаю, кроме меня, нет ни одного хирурга.

Он созвонился со старшим дежурным смены, им оказалась совсем молодая женщина. Но рассуждала она вполне здраво.

— Вы уверены, что прободная? — переспросила она. — И больной, как вы говорите, совсем плохой? Тогда мы должны вызвать помощь на себя. А пока едет хирург, развернём операционную и подготовимся.

— Да я, в принципе, мог бы сам и начать... — предложил Руднев.

— Ну, такого распоряжения я дать не могу: по правилам, должен оперировать штатный хирург. Тем более что исход, вероятно, будет летальный — и разборка нам не избежать.

Не сказать, чтобы Руднев так уж стремился оперировать сам — свой хирургический голод он утолил давно, — но хирург, которого ждали уже минут двадцать, всё не появлялся. Несчастный мужик уже заинтубирован, его живот давным-давно обработан рыжим раствором Люголя и отгорожен стерильными простынями, а сам Руднев, надевший стерильный халат и третью пару перчаток поверх своего облачения, томился в бездействии.

Наконец Мила — она давала наркоз — потеряла терпение.

— Иван Михайлович! — громко сказала она. — Что мы тянем кота за хвост? Чего ждём? Начинайте!

Действительно, пациент мог вот-вот отбыть в лучший мир, так и не дождавшись лапаротомии. Руднев шагнул к столу и взял скальпель, сверкнувший в лучах хирургической лампы. Кожа за лезвием скальпеля расходилась в кровотокающую щель. Пациент был настолько худым, что одного движения хватило, чтобы рассечь кожу с клетчаткой, ещё одного — на апоневроз, и вот уже Руднев видел перламутровый блеск брюшины. Едва он надсёк её тонкую плёнку — как с лёгким хлопком вышел воздух: это оказалось именно то, чего Руднев и ожидал. Выпота оказалось немного: значит, давность прободения небольшая. Когда доктор раздвинул ладонями сизоватые петли кишок, обнаружилась и сама язва: на передней стенке двенадцатиперстной Руднев увидел чёткое, как бы штампованное отверстие, над которым вяло пузырилась слизь. “Надо же, как удобно, — порадовался хирург. — Прямо студенческий случай: ни тебе инфильтрата, ни перитонита! Зашивай дыру, мой живот — и уноси ноги, пока мужик жив...”

— Ну, что там? — Мила с интересом заглянула в рану. — Ага, вижу: прободная! Похоже, работы будет немного?

— Немного, — кивнул Руднев.

— Вот и славно! Хотелось бы снять со стола живого.

— А что, он совсем плох?

— Хуже некуда, — вздохнула Мила. — Дело даже не в прободной: у него ковидное поражение лёгких процентов на восемьдесят. Одними верхушками дышит...

Рудневу было радостно сознавать, что Мила рядом и что она видит, как он оперирует. Кто, как не доктор-анестезиолог, отстоявший на тысячах операций и видевший разных хирургов, мог по достоинству оценить мастерство оператора? И Руднев, хоть и не терпел показухи, всё же старался работать как можно точнее, быстрее и аккуратнее. Давно ему не было так хорошо, как сейчас: рядом с любимой женщиной и любимой работой. “Надо же, — думал он, пока его руки словно сами собой перехватывали кольца иглодержателя или затягивали лигатуры, — только в конце моей жизни совпало то главное, ради чего вообще стоит жить...” Он чувствовал, как весь мир, наконец, обретает устойчивость, смысл и порядок — несмотря на все беды и всю неразбериху, что царят в нём. “Подумаешь, пандемия, — думал хирург, сам любясь тем, как аккуратно сомкнулись края ушитого прободного отверстия. — Вирус вирусом, а у нас есть своё дело: вот его, пока можешь, и делай...”

Он уже заканчивал мыть живот, когда в операционную быстро и шумно вошёл его старый знакомый, Эдик Кравцов, толстяк, говорун, весельчак и отличный хирург. Даже в комбинезоне и маске его нельзя было не узнать.

— Ба, какие люди! — похлопал он Руднева по спине. — Узнаю старую гвардию! Знал бы я, что ты здесь — захватил бы бутылочку, встречу отметить. Ну, как ты, Михалыч?

— Как видишь. Вон, прободную ушил, тебя не дождался...

— А, ерунда, — Эдик даже не стал смотреть в рану. — Что я, учить тебя буду? Правда, Маш?

Он шлёпнул по задку операционную медсестру, та вскрикнула, и Кравцов радостно захохотал. Вместе с ним в операционную ворвалось столько жизни, что все задвигались, заговорили и засмеялись — несмотря на усталость и на глухую ночь.

— Помочь, Михалыч? — гудел бас Кравцова.

— Ладно уж, обойдусь без сопливых. — Руднев был искренне рад видеть старого друга. — Сам-то как?

— Нормалёк! Слышал новость?

— Какую?

— Новые рекомендации Минздрава по борьбе с вирусом.

— Ну, поделись...

— Теперь после контакта с ковидным больным положено полоскать горло спиртом. Ей-богу, не вру!

— Полоскать — и выплёвывать? — спросила сестра.

— Ага, щас! — гудел Кравцов. — Это пусть злые собаки выплёвывают! Каждый глоток спирта — гвоздь в гроб коронавируса, ясно?

— Куда уж ясней, — смеялся Руднев, начиная шить кожу. — Видно, Эдик, без выпивки нам сегодня не обойтись, раз уж сам товарищ Минздрав рекомендует...

— А я о чём? Мы ещё твою любимую песню споём. Как там: “Я был батальонный разведчик...”?

— Ишь ты, не забыл... — Руднев был даже растроган.

— Я, Ваня, настоящих людей не забываю!

45

Вышить им, правда, так и не удалось. Закончив лапаротомию, Руднев снова спустился в приёмное, где его, пока он оперировал, подменял молодой доктор-стажёр, и вновь закрутился в безостановочной карусели дежурства. Одна за другой подъезжали “скорые” и сгружали больных; белые фигуры в комбинезонах ковыляли по коридорам или перекладывали беспомощных пациентов; “труба” компьютерного томографа почти непрерывно была загружена задышавшимися телами; родственники рыдали, прощаясь с близкими у дверей лифта; и чёрные пластиковые пакеты с одеждой (налево — одежда живых, направо — умерших) уже не помещались в бельевой комнате приёмного отделения.

У Руднева голова шла кругом от мелькания лиц и тел, от несмолкающего гудения голосов и от бесконечных строк на экране компьютерного монитора — строк, которые ему приходилось вбивать, оформляя очередную историю очередного поступающего пациента. Не раз он с ностальгической нежностью вспоминал недавнюю операцию, когда никто его не торопил и не дёргал, когда он прекрасно знал, что ему нужно делать, и мог работать в своё удовольствие. “Кто поверит, что операционная — самое спокойное место на свете? — думал хирург. — Там ты занимаешь своё законное место, делаешь то, что можешь и должен, и суета всего остального мира тебя уже не касается”. А вот приёмное отделение было, напротив, центром беспокойства и суеты.

Лишь перед самым рассветом, когда оконные стёкла ощутимо похолодели и затуманились, наступило временное затишье. Смолкли шаги, голоса, стук каталок и лязганье жестяных дверей лифта. Но предрассветная тишина была хрупкой, она словно не доверяла самой себе.

И правильно делала: не успел Руднев встать от компьютера и потянуться, прогнув затёкшую поясницу, как лифт опять загудел, и его кабина медленно опустилась с четвёртого на первый этаж. Снова лязгнули двери, тяжело застучала каталка — и в приёмное заглянула фигура в комбинезоне.

— Чего тебе? — сонно спросила её санитарка.

— Ключи от мертвецкой у вас? — поинтересовалась фигура совсем юным, девчоночьим голосом. — Мне нужно покойника в морг отвезти.

Санитарка, зевнув, протянула ей ключок с биркой из красной клеёнки, на которой было крупно написано: “морг”. Рука девушки, принимая ключ, заметно дрожала.

— Да ты, никак, мёртвых боишься? — обратила на это внимание санитарка.

— Ага, очень боюсь! — призналась молоденькая медсестра. — Я и в морге ни разу ещё не была — тем более ночью...

— Вот глупая! — санитарка, выдавшая виды, не то удивилась, не то возмутилась. — Живых надо бояться, а мертвяки ещё никому ничего худого не сделали. Верно, доктор?

— Верно-то верно... — Руднев чувствовал, как гудят его ноги. — Знаешь, что, милая: схожу-ка я вместе с тобой — заодно прогуляюсь...

Шелестя бахилами, они вышли в ночь: Руднев с сестрой (которая, получив провожатого, сразу повеселела) и тот, кто катился меж ними, завёрнутый в красную плёнку. Покойник был очень тяжёл, это чувствовалось и по инерции хода каталки, и по натужному скрипу её сочленений. Вот почему мёртвые всегда кажутся тяжелее живых? Не может же сама смерть что-то весить, ведь это ничто, пустота, всего-навсего отрицание жизни... Мысли о парадоксальной тяжести смерти так увлекли Руднева, что он не заметил, как наступил в лужу, и бахилы мгновенно промокли.

— Ах я, растяпа! — воскликнул он.

— Что с вами, доктор? — обернулась сестра.

— Да вот, сослепу в лужу шагнул...

На востоке небо светлело; за зданием морга, в овраге, отрывисто-сочно свистел соловей; а кусты сирени пахли так сильно, что Руднев даже замедлил шаги и сдвинул с лица респиратор.

— Чуешь, дочка, как пахнет? — спросил он сестру.

Девушка тоже открыла лицо — она оказалась очень хорошенькой — и с наслаждением, полной грудью, вдохнула.

— Да, чудесно! — сказала она. — За этой работой я и забыла, что на свете есть соловьи и сирень...

Похоже, что только один из них — мёртвый, завёрнутый в плёнку — не мог разделить наслаждения этой майской ночью. Но он, по крайней мере, не мешал ни Рудневу, ни медсестре, ни щёлкавшему соловью; он тихо лежал, ожидая, пока они снова тронутся.

Морг оказался забит мертвецами. Даже Руднев, и то растерялся, увидев тела, лежавшие и на каталках вдоль стен, и на всех трёх прозекторских сто-

лах, и даже на бетонном полу. А уж зловоние здесь царило такое, что от него не спасал и респиратор.

Медсестра зашаталась: похоже, она собиралась упасть в обморок.

— Эй, подруга! — потряс её Руднев за худенькое плечо. — Смотри, без фокусов!

Нашатыря бы ей под нос или хотя бы побить по щекам. Но в этом костюме и до тела-то не доберёшься... Он сделал единственное, что мог: грубо схватил медсестру за левую грудь (“Ого: не такая и маленькая!” — отметил Руднев) и сдвинул её так, что девушка взвизгнула.

— Ну вот, — засмеялся довольный Руднев, — обморок отменяется...

Не сразу они нашли место для своего покойника: пришлось сдвинуть тех, что лежали вдоль стен. “Вот и верь тому, что нам говорят в новостях: смертность, мол, не повысилась, — думал Руднев, проталкивая каталку меж мёртвых тел. — Столько покойников разом я сроду не видел. А ведь кто-то ещё сомневается и не верит в существование коронавируса...”

Зато когда они с медсестрой належке вышли снова на воздух и прикрыли оцинкованной дверью зловоние морга — свежая майская ночь показалась ещё прекраснее, и соловей запел ещё громче.

— Не обижаешься, дочка? — спросил Руднев, приобняв медсестру за плечи.

— Что вы, доктор! — блеснул её взгляд сквозь очки. — Напротив, я очень вам благодарна...

46

Красная зона подарила Рудневу ещё одну радость: возможность после дежурства сидеть на балконе отеля, наслаждаясь покоем и видами. Раньше-то Рудневу было уж точно не до созерцаний: поток работы и жизни нёс его так, что задача оставалась одна — не захлебнуться и не утонуть. Теперь же, вернувшись из красной зоны в отель, — иногда побегав полчаса-час, иногда решив обойтись без пробежки, — он усаживался на балконе в удобное кресло, ставил рядом стакан со спиртным (не зря же Минздрав предписывал профилактику этанолом?) и погружался в безмятежный рай созерцания. Мила к тому же по утрам часто бывала занята — она то снабжала престарелую тётку лекарствами и продуктами, то находила ещё какие-то бытовые дела, — и Руднев на два-три часа оставался один.

Что ему открывалось с балкона? Вид каждый день оставался всё тем же — газон с небольшим фонтаном, скамьи и дорожки, затем молодой березняк за оградой отеля и поле сурепки, желтевшее в просветах между деревьями. Но Руднев каждое утро видел иную картину, с особенным освещением и настроением, с разным расположением солнца и бледной луны, перьевых или кучевых облаков, и с разными птицами, быстро или медленно пересекавшими то синее, то белёсое небо. Надо же, живи хоть сто лет, и каждое утро смотри с той же точки — никогда не увидишь двух одинаковых, до мелочей совпадающих видов. И погода, и освещение, и время года или время суток — да что там: твоё собственное настроение и состояние! — всё будет влиять на то, что и как ты видишь с одного и того же балкона. А то, как ты смотришь, разве не влияет на вид? Прищурь, скажем, левый или правый глаз, посмотри вдаль или вблизи — или вот так, сквозь стакан, — и увидишь картину, ничуть не похожую на ту, что ты рассматривал полминуты назад. До чего же богата жизнь, если всего только вид с балкона отеля, и то наполняет её бесконечным разнообразием...

Виски в стакане закончился, Руднев дотянулся до бутылки “Джонни Уокера” и налил ещё пальца на два, решив, что до обеда он добавлять больше не будет. “От добра добра не ищут, — думал он. — А мне сейчас и так хорошо. Жив-здоров, дышу да люблюсь на белый свет — что ещё нужно? Да и Мила, надеюсь, скоро придёт: я уже начинаю скучать по её взгляду и голосу...”

Он впервые за многие годы ждал женщину именно как человека, а не только как ту, с кем хотелось как можно скорее оказаться в постели. “Видно,

старею, — думал с усмешкою Руднев. — Теперь мне важнее поговорить, пошутить, повспоминать, чем тащить её в койку, как было когда-то. Это что: угасание жизненных сил или, напротив, рождение нового чувства?”

Он вспомнил, как Мила недавно говорила ему:

— Вань, представляешь: ведь ты мой последний мужчина! Мне, как об этом подумаю, сразу как-то и страшно, и одновременно смешно...

— Ну, а ты, стало быть — моя последняя женщина?

— Надеюсь, что так! — хохотала она. — И вообще, мы с тобою — последние люди на свете...

А иногда он вспоминал детство. Если даже виды с балкона ему представлялись бесконечно разнообразными, то прошлое начинало казаться бездонным по своему содержанию, по богатству и глубине тех воспоминаний и образов, что воскресали пред ним.

Сегодняшним утром ему вспоминалась пасека деда. И толчок, разбудивший именно эти воспоминания, был очевиден: на зелёном газоне перед балконом цвели одуванчики, и над яркою их желтизной вились пчёлы. Сдержанное, но полное скрытой силы гудение доносилось до Руднева, напоминая ему дедов сад и синие улы на траве под цветущими яблонями. Дед был в белом просторном костюме и шляпе — с полей опускалась защитная сетка, — и Руднев чуть не засмеялся, подумав, до чего же его дед-пчеловод в своём белом костюме напоминает те фигуры в защитных комбинезонах, что неуклюже расхаживают по красной зоне. “Но тогда, в детстве, это был рай, — вздохнул Руднев. — А теперь скорей ад...”

Дед пыхтел дымарём: сизый дым окутывал улы, вольготно стоявшие на зелёной траве, среди желтеющих одуванчиков, и поднимался к ветвям старых яблонь, облитых бело-розовыми цветами. Пчёлы гудели, и их сложновьющий гул восхищал и пугал пятилетнего Ваню. Это был для него словно гул самой жизни, прекрасной и непонятной, манящей, но и угрожающей. Зачарованный мальчик приник к стволу яблони, неотрывно глядя на деда, на вздохи его дымаря и на улы со снятою крышкой, из которого дед доставал и осматривал рамки. “Интересно, — подумал Руднев теперешний, — а в раю может быть пасека? Если может, то там дед, надеюсь, всё так же пыхтит дымарём, и над ним продолжают гудеть его вечные пчёлы...”

Потом Руднев вспомнил, как его впервые ужалила пчела. В тот миг, когда серый жужжащий комочек ударился о его испарпанную коленку и превратился в пчелу, озабоченно шарящую усиками по коже Ивана, мальчик почти гордился тем доверием, что ему оказала пчела. “Как хорошо, что она меня не боится”, — подумал он с радостью. Когда же он попытался взять её пальцами, чтоб рассмотреть, пчела повела себя странно. Она приподнялась на членистых лапках, подогнула мохнатое серое брюшко, на мгновение замерла и напряглась — и вдруг Иван ощутил жжение там, где согнулась пчела! С изумлением мальчик смотрел, как пчела, содрогаясь, пыталась глубже и глубже пробить его кожу. Чем-то помимо рассудка, с восторгом и ужасом он сознавал, что в этот момент между ним и пчелой возникает нерасторжимая — в прямом смысле, смертная — связь...

Затем мальчик рассматривал то, что осталось от серой пчелы, невесомо упавшей с его покрасневшей коленки на траву. Ногтями он выдернул скользкое чёрное жало из кожи, горячей огнём, — оно всё ещё сокращалось — и только в этот момент осознал, что пчела у него на глазах отдала свою жизнь. Но зачем? Кто заставил её умирать?

Руднев отхлебнул ещё виски, откинулся в кресле, но теперь взгляд его был туманен и вряд ли отчётливо различал окружающее. Он весь, целиком ушёл в размышленья о том, как пчела, что ужалила некогда пятилетнего мальчика, незримо влияла на всю его, Руднева, жизнь.

Смерть пчелы стала первою смертию, которую видел Иван. “Уж сколько потом я встречал самые разные смерти, — думал Руднев, — а порою, признаться, и сам был невольной причиною их, но жертва пчелы до сих пор не даёт мне покоя. Может, всё дело в том, что это свободная и добровольная смерть — та, которую сам выбираешь во имя чего-то, что больше тебя самого?” Смысл и тайна жертвенной смерти впервые открылись ему с такой

простотою и ясностью, какой Руднев прежде не знал ни в своей напряжённой душе, ни в своих, часто путаных мыслях.

И он уже не удивился тому, что пчела, с басовитым и нежным гудением покружив по балкону, опустилась на голое рудневское колено (он был в спортивных трусах) и, словно передавая ему привет из далёкого детства, согнулась в напрягающуюся запятую. Почти с наслаждением Руднев снова почувствовал жжение там, где сидела пчела, и не спешил сбрасывать её серое лёгкое тельце, содрогавшееся в последних конвульсиях. Отчего-то он был уверен, что это всё та же пчела, что она не умерла тогда, в саду деда, а, пролетев пятьдесят с лишним лет, вновь нашла Руднева и опустилась ему на колено. “Да, это та же пчела, — думал Руднев, растроганный неожиданной встречей и с ней, и с самим собой пятилетним. — Потому что отдать себя в жертву — единственный способ победить свою смерть...”

47

Вечерами они с Милой гуляли в полях. Однажды зашли так далеко, что зелёный куб отеля “Амбассадор” оказался едва виден на горизонте. Но уж очень хорошим и тёплым был вечер: столбы мошкарки висели над ними, стрижи стригли небо, а медовый запах цветущей сурепки кружил голову.

— У нас ведь с тобой тоже медовый месяц, правда? — Мила, блестя глазами, с улыбкой поглядывала на Руднева.

— Похоже. — Он приобнимал её, и она легко подстраивалась, чтобы идти шаг в шаг с ним.

Руднев до сих пор поражался тому, как Мила мгновенно чувствует и исполняет именно то, чего хочет он сам, хоть в постели, хоть, как сейчас, на прогулке. Неужели бывают такие женщины, что с ними не нужно ни спорить, ни убеждать их в чём-либо, ни ругаться, ни наносить оскорбления, а можно просто шагать, обнимая её и наслаждаясь вечерним покоем?

Он хотел расспросить Милу о жизни в Америке, где она провела вместе с первым мужем несколько лет; но не хотелось нарушать благодать этого вечера разговором, который, возможно, был ей неприятен. Захочет — расскажет сама.

Поднявшись на взгорок, они повернули обратно — и замерли, поражённые зрелищем огненного заката: пламенела почти треть неба. Глаз было не оторвать от густого багрянца, в котором как будто сторали едва различимые на горизонте дома города, шпиль телевышки и трубы промзоны. Но это же пламя, сжигавшее город и мир, вызывало тревогу. Красное небо пересекали бесшумные чёрные вороны, похожие на сажу, взлетевшую от охватившего небо и землю пожара.

— Ну что, возвращаемся? — наконец спросил он притихшую Милу.

— На закат?

— На закат... Знаешь, чем больше смотрю на него — тем больше мне хочется выпить.

— Мне тоже! — засмеялась Мила. — Так мы, Ваня, с тобою сопьёмся.

— Я думаю, что уже не успеем...

Они возвращались неспешно, держась за руки, как бы погружаясь в закат — в его с каждой минутой густевшее пламя. Неожиданно — они даже вздрогнули — их обогнали три велосипедиста. Первым ехал седой бородатый мужик, чем-то похожий на самого Руднева, а следом катили молодые парень и девушка. Руднев заметил, что девушка очень красива: её ясный лик, строгий взгляд и пшеничного цвета коса отпечатались в его сердце и памяти столь же отчётливо, как и чёрные птицы на фоне заката.

— Странная троюза, правда? — заметила Мила, когда велосипедисты отдалились.

— Чем же странная?

— Ну, парень с девушкой — это понятно. А третий, седой — он-то им зачем?

— Как зачем? Может, он чей-то отец...

— И они его взяли с собой прокатиться?

- Почему бы и нет? Он мужик ещё крепкий — вон как крутит педали!
— Ну, если так... — согласилась Мила. — Они, небось, про нас тоже подумали: что за странная пара?
— А мы-то чем странные?
— Ну, как: пожилые, а держатся за руки, как молодые влюблённые!
— Так мы и есть молодые влюблённые.

48

Руднев навряд ли и сам мог сказать, когда ему пришла мысль попробовать записать несколько воспоминаний о детстве. Они приходили к нему по утрам на балконе — нередко подогретые глотком-другим виски — всё свободнее, ярче, живее. Возможно, что и присутствие рядом тома Хемингуэя, который Руднев время от времени открывал, чтобы перечитать десяток любимых страниц, подталкивало к попыткам перенести на бумагу картины и образы прошлого.

Вообще его жизнь сейчас была так полна, как давно не бывала. Мила и радость общения с ней — радость, вовсе не ограниченная постелью, — работа в больнице, которую он, несмотря на усталость и возраст, любил до сих пор, пробежки в полях и долгие созерцания на балконе отеля — всё это было почти идеальной для Руднева жизнью. Для полного счастья, как он смутно чувствовал, недоставало лишь творчества: попыток перевести непрочную зыбкость воспоминаний в полновесную и несомненную тяжесть написанных слов.

Возвращаясь в отель после очередного дежурства, он зашёл в книжный магазин (как ни странно, работавший, несмотря на запреты) и купил там чёрный блокнот “Moleskine”, которым, он знал, пользовались все известные писатели, и его любимый Хемингуэй в том числе. Блокнот оказался недёшев, что Рудневу даже понравилось: это как бы заранее повышало ценность того, что он собирался писать на его страницах. “Пустьками, уж точно, марасть такую бумагу не будешь”, — подумал он, с уважением перелистывая блокнот. В нём была и закладка, и кожаный хомутик для карандаша, и резинка, прижимающая страницы, чтобы их не перелистывал ветер. “Правда, теперь в блокноты не пишут, — размышлял Руднев, купивший ещё и подложки карандашей. — Теперь текст набирают на экране планшета или телефона. Так что, похоже, я буду последним писателем старого образца — музейным, можно сказать, экспонатом...”

Эта мысль ему тоже понравилась — хоть она и была скорее грустной. Он всё чаще себя сознавал человеком последним в том смысле, что отношение к жизни, которое он уважал в других и старался, по мере сил, поддерживать сам, становилось всё более редким и странным, неуместным и даже смешным. Конечно, любой пожилой человек ощущает себя в арьергарде отступающего с полей жизненных битв поколения: бой в основном отгремел, павшие пали, а немногие из оставшихся в поредевшем строю изнемогают от ран и так измотаны, что уже не способны сражаться, как прежде, но Руднев подозревал, что его поколение вообще замыкает собой целый этап человеческой цивилизации. Лучшие из его современников — те, кого он глубоко уважал и старался не то, чтобы быть похожим на них (подражательства Руднев не выносил совершенно), а старался нести ту же ношу мужчины-бойца, что несли и они, — лучшие уходили один за другим, и те зияющие пустоты, что оставались после их ухода, заполнить, увы, было некому. И Руднев почти физически чувствовал тот сквозняк, что тянул из открывшихся дыр пустоты. А ведь пустота, думал Руднев — это страшная вещь. С одной стороны, это то, чего как бы не существует, но эта же самая пустота может быть действительна и агрессивна, она угрожает всему, что есть в мире, суетной и неуёмной энергией небытия.

Не с этой ли самой пустотой он хотел напоследок сразиться, принимаясь записывать воспоминания детства? Ведь он и в своей собственной жизни, в остывающей с каждым годом душе тоже чувствовал сквозняки пустоты: они тянули издали, из его личного небытия — из того времени, когда

Руднева ещё не существовало. Эта загадка тоже мучительно интересовала его. Переход от того состояния, когда его ещё не было в мире, — или он уже был, но ещё не понимал факта собственного существования, — ко времени, когда он осознал, что живёт, представлялся Рудневу чуть ли не главным вопросом на свете и главной тайной, которую он был обязан раскрыть, пока жив. Таинственный переход от небытия к бытию был так важен ещё и потому, что в нём же таилась отгадка того, что ждёт Руднева в будущем. Ведь ему предстояло вернуться туда, откуда он некогда вышел: тайна возникновения, как он смутно догадывался, одновременно являлась и тайной исчезновения или возможного существования, но уже за чертой смерти.

Так что ещё и для осознания этого, а не только для заполнения времени в ожидании Милы он собрался писать мемуары.

49

Но он даже не представлял, как это будет непросто. Когда Руднев уселся в кресло и не спеша заточил три карандаша — золотистые стружки остались на блюдце, то даже воспоминания поначалу не приходили к нему. Они словно боялись того, что их теперь хотят изловить, и, как вольные птицы, не подлетали к силкам, состоящим из карандашей и блокнота.

Пришлось сделать усилие, чтобы вспомнить то, как он чуть не утонул в семилетнем возрасте. Почему-то именно с этого эпизода хотелось начать мемуары. Это воспоминание было одним из самых ярких во всей его жизни — оно до сих пор приходило во снах, — может быть, оттого, что тогда семилетний Иван сразу дважды — в одном и в другом направлении — пережёг черту, отделяющую жизнь от смерти.

Положив раскрытый блокнот на колено, Руднев помедлил, вздохнул, а затем написал: “Мне было семь лет. Мы пошли купаться на речку и заспорили, кто дольше просидит под водой? Я был самый младший, и меня не хотели допускать до состязания. Но уже тогда я был упрямый, как осёл, и тоже полез в воду. А чтобы не всплывать, я сунул ногу меж старыми брёвнами, что лежали на дне...”

Руднев остановился и перечитал написанное. Нет, это было не то: слишком грубо и просто, и не передавало того, что он надеялся выразить. Он-то хотел дать сразу и всю картину происходящего: показать их компанию, зелень травы и гусиный помёт на берегу, тень от моста на траве и его шершавые доски, такие странные, если смотреть на них снизу, и одновременно передать то, что происходило в его душе, когда он, Ваня Руднев, вдохнув напоследок поглубже, присел с головой в мутноватую тёплую воду. Его нога легко проскользнула меж старых ослизлых брёвен, оставшихся после ремонта моста, а он ещё так развернул стопу, чтобы она закрепилась там, в тесной илистой щели, и удержала его возле дна. Какое-то время под водой было удобно. Потом в груди сделалось тесно и захотелось вдохнуть, но Ваня, умевший нырять, уже знал, что это желание можно перетерпеть. Навверху, он слышал, продолжали громко считать секунды, но этот счёт отдалялся и становился всё медленнее, отставая от торопливых толчков крови в ушах. “Ещё пять ударов — и выныриваю!” — мелькнуло в шумящей его голове. И он, даже не досчитав до пяти, оттолкнулся от дна. Но левую ногу что-то крепко держало — то ли сдвинулись брёвна, то ли так развернулась стопа? — и до желанного воздуха он не дотянулся. Над Иваном качалась, мерцала поверхность — даже руки уже были там, на свободе, на воздухе! — а лицо, искажённое ужасом, оставалось в воде...

Но мука и паника длились недолго. Ощущение времени вдруг прекратилось, он перестал слышать толчки крови в висках, и руки его перестали взбивать загустевшую воду. Иван затих и обмяк, и поплыл внутрь себя самого — в те глубины, где прекращалось удушье и затихали конвульсии тела. Ему неожиданно сделалось так хорошо, как ещё не бывало. Такого слияния с миром и примиренья с самим собой он никогда не испытывал; его самого уже как бы не было, но он ещё существовал, погружившись в блаженный покой,

что лежит много глубже изменчивой, суетной и прихотливой поверхности мира явлений...

Из нирваны его вырвали так же грубо и бесцеремонно, как, ободрав стопу в кровь, выдернули ногу из щели меж брёвен. Возвращение в солнечный мир оказалось куда тяжелее, чем уход из него. Сначала Ивана рвало зеленоватой слезью; потом он мучительно кашлял, и каждый вдох отдавался режущей болью в груди; а затем начала сильно болеть и распухшая, с содранной кожей стопа. Сидя на забрызганной илом и кровью траве, он озирался с таким недоумением, словно спрашивал: “Зачем вы вернули меня в этот мир? Ведь там, под водой, было так хорошо и спокойно, а здесь так больно и так тяжело...”

Руднев вздохнул и захлопнул блокнот. Вот как передать это всё — то, что он пережил и что время от времени возвращалось к нему? “Непростое всё-таки дело — писать, — подумал он. — Недаром мой старый друг Хем столько пил...” Отложив блокнот, он налил себе виски и с наслаждением глотнул, ощутив, как в груди потеплело и как уже через пару минут мир сделался ближе, подробнее и интереснее. “Ничего, как-нибудь после попробую вспомнить и записать что-то ещё, — успокаивал сам себя Руднев. — Даже у Хемингуэя, и то получалось не сразу...”

50

Он продолжал дежурить в прежнем режиме, через двое суток на третьи — так работало большинство сотрудников красной зоны — и к седьмому или восьмому дежурству почувствовал, что ему не хватает двух суток отдыха. Пожилому доктору было непросто проводить две смены по шесть часов в защитном костюме и не просто сидеть за компьютером, а осматривать поступавших больных, успокаивать перепуганных родственников, отвечать на телефонные звонки, да ещё помогать сёстрам то закатывать носилки с больными в кабину лифта, то отвозить покойников в морг. Очки продолжали запотевать, несмотря на различные средства, которыми их обрабатывали, пот в жаркий полдень продолжал течь по лицу и спине, а в зябкую полночь Руднева прохватывало ознобом, и он с тоской поглядывал на циферблат настенных часов, мысленно торопя короткую стрелку приблизиться к двойке — то есть ко времени, когда должна прийти смена.

Усталость, похоже, копилась во всех, кто работал с ним вместе, кто проводил сутки за сутками в красной зоне, а в промежутках, вырванный из привычного течения жизни, отсыпался или скучал в отеле. “Нам-то с Милой ещё хорошо, — думал Руднев. — Нас двое, и нам есть, чем заняться. А вот другим, разлучённым с семьями — тем, конечно, несладко...”

У усталости был и ещё один облик. Те, кто уже много дней находились в гнетущей и возбуждающей атмосфере опасности, начинали воспринимать войну, как рутину, и всё чаще пренебрегали правилами безопасности. Сдвинуть на лоб очки, если они запотели, стало обыденным жестом, и не только в ординаторской или рентгенкабинете, вдали от больных, но и во время обходов в палатах, наполненных вирусом.

Случались и вещи, из ряда вон выходящие. Как-то Руднев шёл отделенческим коридором и в закутке возле лифта увидел незнакомого молодого врача, который, опустив респиратор под подбородок, жадно вдыхал воздух ртом.

— Что случилось? — спросил, подойдя к нему, Руднев. — Дышать тяжело?

Парень вздрогнул — похоже, он не ожидал, что его здесь увидят, — и его печальные, как у побитой собаки, глаза с тоской и испугом остановились на Рудневе.

— Ничего, не волнуйтесь, — пробормотал он смущённо. — Просто я...

Он замылся, не зная, что сказать дальше. Потом, — очевидно, решив, что скрывать больше нечего, — раздражённо воскликнул:

— Просто меня всё достало! И эти дежурства, и эти покойники, и всё вообще...

Руднев внимательней посмотрел на него. Вид у парня и впрямь был неважный: под глазами темнели круги, а тонкие бледные губы кривились в печальной усмешке.

— И чего же ты хочешь? — продолжал спрашивать Руднев. — Зачем респиратор снял?

— Как зачем? — удивился вопросу молодой доктор. — Чтобы заразиться и уйти на больничный. Может, хоть тогда отдохну?

Руднев не знал, что на это сказать. В нём боролись сочувствие к этому парню — он, видно, и впрямь был на пределе — и неприязнь к человеческой слабости, проявившейся так откровенно. Пожав плечами, пожилой доктор зашуршал бахилами дальше по коридору, размышляя о том, как же всё-таки молодёжь отличается от их поколения, для которого проявление слабости всегда считалось позором. На войне такого бойца ожидал бы трибунал. Да, молодёжь стала другой, и её уже трудно понять. Хотя... Люди разные, и у каждого свой запас сил...

О себе самом он мог точно сказать, что предел ещё не наступил. Знакомый с большими нагрузками с молодых лет, проведённых в спортзалах и на стадионах, Руднев знал, что первая усталость приходит тогда, когда человек ещё полон сил и возможностей. Бежишь, бывало, полторы тысячи, так уже на втором выраже начинает казаться, что сил не осталось. А бежать ещё огого сколько! Вот тут и нужна привычка терпеть. А молодые, похоже, терпеть не хотят.

Пока было свободное время, он решил зайти в реанимацию, чтобы увидеть там Милу и перекинуться с ней парой слов. Но поговорить им не удалось: Мила как раз интубировала больного. Что-то у них с сестрой не получалось — трубка никак не входила в трахею — и они прекращали попытки, накладывали на посиневшее мертвенное лицо кислородную маску, и ждали, пока цианоз сойдёт с губ и ушей. Потом Мила снова хватала интубационную трубку, немного сгибала её о сестринский столик и пыталась, чуть ли не прижимаясь лицом к синюшному лбу пациента, вставить дыхательную трубу в трахею. Но шея больного была коротка, хорошо запрокинуть голову не удавалось, и трубка снова и снова соскальзывала в пищевод: вместо ровного шума, какой должны издавать лёгкие, слышалось бульканье. К тому же пластиковая маска потела — ещё, бы, в такой нервозности и суете! — и Мила не видела голосовой щели. После нескольких безуспешных попыток она раздражённо сдвинула маску на лоб.

— Так я хоть что-то увижу, — пояснила она медсестре. — Маша, прижми ему шею!

Наконец, ей удалось вставить трубку в трахею. Отерев лицо тылом руки, — было видно, как по лбу течёт пот — она встретилась с Рудневым взглядом и только пожала плечами: извини, мол, сейчас не до тебя...

Вернувшись в приёмное, Руднев принял ещё двух пациентов: одного положил, одного отпустил домой. Допечатав историю, он вышел подышать на крыльцо. Решётка больничной ограды разделяла ночь на два разных мира. Здесь, на больничном дворе, обнесённом красно-белыми лентами, сам воздух казался наполнен страхом и смертью, а свет фонарей падал на влажный асфальт с напряжённой, болезненной резкостью. А вдали, за оградой, шла городская обычная жизнь. Вот проехала пара машин — из одной раздавалась ритмичная музыка, — вот протопала очевидно хмельная компания молодых мужиков, оживлённо спорящих и размахивающих руками; а вот прошла парочка: парень в белевшей рубашке накинул пиджак на плечи девушки, а она так доверчиво прижималась к нему, что Руднев посмотрел на них с умилением. “Красивая пара, — вздохнул он. — И впереди у них целая жизнь...” Парень с девушкой одновременно взглянули через ограду на Руднева. Должно быть, в своём белом комбинезоне он показался им привидением или выходцем с того света. Девушка что-то спросила, парень негромко ответил — и оба они засмеялись. “Смейтесь-смейтесь, ребята, — подумал Руднев, глядя им вслед. — Когда ещё и посмеяться, если не в молодости...”

Выйдя на очередную пробежку, он поначалу не обратил внимания на серую полосу, закрывавшую край неба. Солнцу было ещё достаточно места, его яркий свет заливал и зеленеющий березняк, и жёлтое поле сурепки за ним, и грунтовую дорогу, по которой, не торопясь, бежал Руднев.

С каждой сотнею метров, что он пробегал, солнечный свет становился тревожнее, а серая полоса тучи обретала свинцовый оттенок и угрожающий вид. Но Рудневу, разогретому бегом, было не страшно, а весело поглядывать на неё. “Даже если и вымокну, — успокаивал он себя, — небось, не растаю: не сахарный!” Единственное, что он сделал из предосторожности: на развилке дорог взял левее, чтобы в случае ливня быть ближе к шоссе, а не бежать по размокшей грунтовке.

Туча вспухала, поднявшись до самого солнца, — и, чем больше приближалась грозная её чернота, тем ярче и радостнее сияло светило. “Вот так же бывает и у людей, — мелькнула у Руднева мысль. — Чем ближе смерть, тем острее ощущение жизни...” На взгорке неожиданный порыв ветра едва не опрокинул бегуна. И показалось, что именно этот порыв задул свет: вокруг потемнело, а от солнца, закрытого тучей, осталось лишь несколько тонких прощальных лучей. “Сейчас врежет!” — подумал Руднев, ощущая одновременно и страх, и восторг перед тем, что вот-вот ожидало его и весь мир.

Наверху заворочались глыбы сердитого грома. Ещё несколько раз рванул ветер, и над дорогой возник небольшой пыльный смерч. Он какое-то время летел, крутясь, впереди Руднева, словно предлагая ему поиграть в догонялки. “Нет, приятель, мне за тобой не угнаться, — улыбнулся мысленно Руднев. — Ты вон какой лёгкий и быстрый!”

Смерч, подхватив клочок сухой травы, взвился к чёрному небу, и дорожную пыль стали пятнать торопливые капли дождя. Ощущать их шлепки спиной и затылком разгорячённому Рудневу поначалу было приятно, как приятно вдыхать и особенный запах дождя, перемешанный с запахом влажной пыли.

К тому времени, как дождь разошёлся в полную силу, Руднев выбежал на шоссе. Над потемневшим асфальтом висел слой водяных брызг. Бегун, шлёная по ещё неглубоким лужам, чувствовал, как на его напряжённые икры попадает холодная грязь. Но бежалось пока в охотку: дождь подбадривал, силы в ногах ещё оставались, и грела мысль, что в отеле, куда он бежит, его ждёт горячий душ, сухая одежда — и Мила.

Гроза набирала мощь с каждой минутой. Небо трещало, словно разламываясь, и из этих разломов вместе с грохотом грома извергались потоки воды. “Дождь стеной” говорят как раз про такое, когда не только ничего толком не разглядеть сквозь белые струи, но трудно даже дышать этой влажной смесью, где воды, кажется, больше, чем воздуха.

А тут ещё прямо в ленту шоссе стали бить молнии. Руднев впервые видел такое, когда впереди ослепительный ломкий стержень соединил чёрное небо с асфальтом, и раздалось такое шипение, словно на огромную каменку опрокинули ковш кипятка. Тотчас загрохотал оглушительный гром, а там, куда врезалась молния, Руднев увидел дымящееся пятно треснувшего асфальта. Вскоре такие же треск и шипенье раздалось позади него. Руднев даже не успел испугаться, хотя в голове и мелькнуло, что молнии метят, похоже, в него, просто они слишком злятся и слишком торопятся, чтобы попасть точно в цель.

Ему ещё не приходилось быть центром и целью грозы; и он никогда не испытывал вместе с ужасом близкой, взглянувшей ему в лицо смерти такого пьянящего чувства свободы. Он сознавал, как ничтожен среди этих бушующих, расвирепевших стихий — и как он одновременно сильнее всего, что творится вокруг. “Что эти молнии знают о жизни и смерти? — думал он, задыхаясь от бега сквозь ледяную стену дождя. — Лучше б они расспросили меня: я бы им рассказал...”

Когда он, наконец, добежал до “Амбассадора”, дождь почти стих и гроза бушевала уже далеко в стороне. Пока Руднев, оставляя мокрые следы на полу, пересекал холл отеля, портье провожал его изумлённо-испуганным взглядом. Руднев настолько озяб, что у него стучали зубы и дрожали колени. “Похоже, что, кроме Милы, меня не согреет никто, — думал он. — Да мне никто, кроме неё, и не нужен...”

52

Такого горячего женского тела, как тело Милы в тот день, Руднев ещё не встречал в своей жизни, богатой на встречи.

— Мы с тобой, Вань, — задыхалась горячая, взмокшая Мила, — как в последний раз...

— Как знать... — хрипел Руднев.

Потом они долго лежали, часто дыша; Руднев — ничком, Мила — навзничь друг возле друга.

— Ну что, согрелся? — наконец с тихим смехом спросила она.

— А ты?

— Да я и была не холодная...

Она в самом деле была горяча словно печка, и никак не могла успокоить дыхание.

— Ты в порядке? — спросил обеспокоенный Руднев.

— В полном... — не то засмеялась, не то закашлялась Мила.

Она медленно села и потянулась к стакану с водой. Руднев, не отрываясь, смотрел, как она жадно пьёт и как с каждым глотком вздрагивает её взмокшее тело.

— Небось, удивляешься, — заметила Мила его взгляд, — что за старуха с тобой в постели?

— Ну, что ты! — погладил он её по горячей и влажной спине. — Ты точно такая же, как и была.

— А ты — даже лучше! — засмеялась она. — Мы с тобой, Вань, оба плохо соображаем: это уже возрастной маразм...

— Иногда этот маразм называют иначе, — пробормотал Руднев.

— В смысле — любовь? — усмехнулась она. — Так ведь это тоже болезнь, вот мы с тобой и заразили друг друга!

— Дай-ка и мне воды, — попросил Руднев. — Ну, как отдежурила? Многих спасла?

— Если бы... — Мила вздохнула. — С этим чёртовым вирусом даже не знаешь, что будет с больным через пару часов. С утра он вроде в порядке — говорит, дышит, даже шутит, — а к вечеру уже синий... Да и аппараты по-прежнему в дефиците.

— Как же вы выбираете, кого спасать, кого — нет?

— И не спрашивай! Это самое тяжкое, — по лицу Милы прошла словно туча. — Выбираем, кто помоложе: у них больше шансов.

— А старики?

— Что старики? Они-то уже, слава Богу, пожили... Да что мы всё о работе? — Мила встала и чуть пошатнулась. — Ладно, я в душ, а ты, Вань, открыл бы вина!

— И что будем праздновать?

— Как что? Общую нашу болезнь...

53

Недомогание началось у них одновременно, во время очередного дежурства. На Руднева накатила такая слабость, что даже просто сжать руку в кулак было трудно. Сквозь запотевшие стёкла очков мир казался туманно-размытым, и доктор двигался большей частью на ощупь, а из пластиковой маски приходилось время от времени выливать пот, разъедавший глаза.

В перерыве между сменами Руднев даже не стал обедать: его мучило при одной мысли о жареной рыбе, которую им привезли. Зато воды он пил очень

много, стакан за стаканом, но то, что он выпил, уже через пару минут проступало на лбу в виде испарины и бежало ручьём меж лопаток. Руднев, конечно, померил температуру, но она оказалась, как ни странно, нормальной. “Может, это всего лишь отравление?” — подумал он и решил продержаться ещё одну смену. Тем более что заменить его было попросту некем: с каждым днём заболело всё больше врачей.

С Милой на этом дежурстве пересечься им не пришлось: работы в реанимации было так много, что она даже не выходила на перерыв. Но Руднев не сомневался, что ей тоже худо: с недавних пор он стал ощущать состояние Милы, как своё собственное.

Встретились они уже на больничном крыльце, в три часа ночи, когда ожидали такси, чтобы ехать в отель.

— Ну, как ты? — спросил Руднев и тут же подумал, что нечего и задавать таких глупых вопросов. У Милы всё было написано на лице, бледном, измученном и постаревшем.

В ответ она только махнула рукой и попробовала улыбнуться, но улыбка напоминала скорее страдальческую гримасу.

В такси ехали молча, на заднем сиденье, закрыв лица масками, чтобы не подвергать водителя лишнему риску. Вёз их тот самый весёлый узбек, с которым Руднев когда-то ехал в “Амбассадор” в гости к Миле. Весельчак в эту ночь тоже был молчалив — и, пару раз встревоженно глянув в зеркало на пассажиров, закрыл и своё лицо чёрной маской.

В отеле, поднимаясь по лестнице, Руднев придерживал Милу за локоть.

— Ты держишь меня или держишься сам? — улыбнулась, хоть и через силу, она.

— Не знаю... — признался он.

Закрыв за собою дверь номера, они постояли, обнявшись и отдыхая после утомившего их подъёма.

— Ну что, солнце моё? — сказал наконец Руднев. — Похоже, мы с тобой коронованы...

— В смысле? — Мила не сразу его поняла. — А, ты про вирус! Да, похоже... Чёрт, до чего же не вовремя: на кого я тётку оставляю?

— Ничего, — утешал её Руднев. — Позвоним в соцзащиту — помогут.

Сам он, честно сказать, не особенно и огорчился. Он так устал на последнем дежурстве, что перспектива безвылазно провести в отеле какое-то время его даже радовала. “Хоть отосплюсь, — думал он. — Кормёжку носят исправно, запас выпивки есть, Мила рядом — да что ещё нужно?”

Но отоспаться, как он надеялся, не удалось. Всё тело Руднева наполнило зудящее беспокойство — вроде того, что он испытывал в детстве, когда залез в яму с крапивой. Кожа горела, и хотелось сменить её, как меняют изношенную или испачканную одежду.

Рукам и ногам тоже не находилось удобного положения. Руднев то вытягивался, то сгибался во внутриутробную позу, подтягивая колени к груди, но его тело сейчас находилось в разладе с самим же собой и само себе непрерывно мешало.

Когда Мила, выйдя из душа, легла рядом с ним, беспокойство усилилось вдвое: ведь теперь, беспрестанно ворочаясь, он мешал заснуть и ей тоже. Впрочем, и Милу — он видел и чувствовал это — изводило такое же точно телесное беспокойство. Она тоже ворочалась, часто вздыхала и тоже не могла найти места горячим рукам и ногам. Скоро Рудневу стало казаться, что в постели томится единое многоногое и многорукое существо: уже трудно было понять, где чьи руки и ноги и где кончается он, а где начинается Мила? “Вот уж, воистину: мы стали единою плотью, — думал измученный, тяжело вздыхающий Руднев. — Теперь даже кашлять, наверное, будем одновременно...”

Так оно и оказалось. Кашлял он — тут же, как по приказу, начинала кашлять и Мила; а как только её тело начинали встряхивать кашлевые толчки — из груди Руднева тоже рвался надсадный, сухой, изнурительный кашель.

Забывтё ненадолго их накрывало, но снилось что-то настолько тревожное, что Руднев был рад, когда просыпался и чувствовал рядом дрожащую Милу. Он гладил её по горячей и мокрой спине, а она, томясь внутри сонного бреда, стонала и плакала, словно малый ребёнок.

— Ничего-ничего, — утешал её Руднев. — Неужели мы вместе не одолеем эту заразу?

54

Хмурое утро принесло им открытие, которое не оставляло сомнений в диагнозе: они перестали ощущать запахи. Измученный трудной ночью, Руднев кое-как встал и умылся, а затем решил заварить в чашках молотый кофе. Открыв банку с “Арабикой”, он машинально пронёс её перед лицом, ожидая привычной бодрящей волны горького запаха, и не почувствовал ничего. Не поверив своим ощущениям — то есть отсутствию их, — он понюхал ещё и даже попробовал кофе на вкус: результат нулевой.

— Мила, понюхай — попросил он. — Ты что-нибудь чувствуешь?

Бледная Мила с трудом села в постели и с очевидным усилием улыбнулась Рудневу. Он поднёс ей к лицу кофейную банку. Мила смешно и по-детски сморщила нос.

— Нет, не чувствую, — удивлённо прошептала она. — Неужели такое бывает?

— Значит, бывает, — вздохнул Руднев. — Теперь нечего и сомневаться: мы оба в коронах. Ваше величество будет пить кофе без вкуса и запаха?

— Что-то не хочется, — пробормотала Мила и снова легла.

Рудневу стало пронзительно жалко её, похожую в эти минуты и на старушку, и на ребёнка одновременно. Её взгляд был таким удивлённо-несчастливым, словно она не могла понять: кто и за что её так обижает? “А хуже всего, — думал Руднев, — что я ничем не могу ей помочь. Это тебе не хирургия, где болезнь можно просто-напросто вырезать, тут, брат, дело серьёзное...”

Себе кофе он всё-таки заварил, но пил его не только безо всякого удовольствия, а почти с отвращением. “До чего злобный вирус, — размышлял он, прихлёбывая обжигающую, но совершенно безвкусную жидкость. — Похоже, он хочет испортить весь мир: вот и кофе перестал быть собой...”

Действительно, мир в это промозглое утро оказался не просто сер и уныл, а противен и пресен. Во всём, что Руднев видел с балкона, он не чувствовал ни глубины, ни тайны, ни интереса — ничего из того, что прежде удерживало его здесь часами. Всё было мертвенным, плоским, бесцветным, словно вырезанным из сырого картона. Даже вид, так всегда восхищавший и утешавший, — березняк, за ним поле, а за ним дальний лес — оказалась закрыт серой мглой, сквозь которую сеялась мелкая и почти незаметная морось. Руднев вышлепнул за перила балкона остатки безвкусного кофе и возвратился в номер.

Надо было решать, что делать дальше. На работу, понятное дело, выходить нельзя — да и какие из них, заболевших, работники? Руднев позвонил заведующей отделением и в двух словах объяснил ей, в чём дело.

— Конечно, оставайтесь в отеле — взволнованно отозвалась она. — Одышки-то нет?

— Пока нет.

— Ну и хорошо! Вот что: я попрошу кого-нибудь из наших привезти вам пульсоксиметр — будете сами измерять сатурацию.

Молодой парень в маске и синих перчатках, который привёз пульсоксиметр, оказался догадлив и захватил ещё две бутылки водки.

— Поправляйтесь, Иван Михайлович, — поставил он звякнувший пакет возле двери, не заходя в номер. — А это вам для лечения.

Руднев насилу уговорил его взять деньги за водку.

— Золотые ребята! — вернулся он к Миле, лежавшей в постели. — А я-то, дурак, ещё ругал молодёжь.

— Да, ребята хорошие... — слабым голосом проговорила она.

— Что-то ты совсем расклеилась, — присел он к ней на кровать. — Давай-ка померяем сатурацию и температуру.

Прибор показал девяносто четыре процента, а термометр — тридцать девять и шесть.

— Вот это жар! — почти восхитился Руднев, заботливо отирая Миле лицо. — Я и не думал, что мы с тобой способны так жарко гореть...

Ему тоже было нехорошо, но он всё же решил провести Миле перкуссионный массаж грудной клетки. Минут десять он хлопал её по горячей спине ладонями, но откашляться Миле не удавалось: грудь болела, и кашель оставался надрывно-сухим.

— Чего же ты хочешь? — проговорила она между приступами кашля. — Дело ведь не в альвеолах, а в кровотоке...

— Не умничай! — он снова надел пульсоксиметр на палец Милы. — Вот видишь, уже девяносто шесть. Да и на ощупь ты стала прохладнее. Ничего, подруга — прорвёмся!

К вечеру стало хуже ему самому. Его лихорадило, всё тело ломило, и никак не удавалось вдохнуть полной грудью, словно клин был вбит между рёбер. Теперь уже Мила ухаживала за ним: давала воды, чтоб запить таблетки парацетамола, и проводила перкуссионный массаж.

— Удар у тебя — будь здоров! — бормотал Руднев, лёжа ничком и чувствуя, как небольшие ладони Милы крепко колотят его по спине.

— А ты как думал? — хриплым голосом отзывалась она. — Это я с виду хрупкая...

После массажа дышать стало вроде полегче.

— Ну-ка, — потянулся Руднев за пульсоксиметром. — Поглядим, какой теперь уровень красного?

На табло загорелось “девяносто пять”.

— Терпимо, — пробормотал Руднев. — Дай мне полотенце...

Они сидели друг против друга в постели, мокрые и измученные — массаж утомил обоих — и дышали так часто, как будто только что занимались любовью. “А ведь у меня, — думал Руднев, глядя на Милу, — никого не осталось, кроме неё...”

Мила думала и ощущала что-то подобное. Как она ни устала, как ни тёк пот по её впалым щекам, и как ни темнели подглазья, но во взгляде её, обращённом на Руднева, неизменно светилась живая и тёплая нежность. Оба они с удивлением осознавали, что любовь может быть и такой: не горячей, как пламя, сжигавшее их молодые тела, а тихо светящейся в их обращённых друг к другу глазах...

55

Ещё ночь и день они продержались. Но болезнь наступала: температура у обоих поднималась почти до сорока, а сатурация снизилась до девяноста процентов. Тяжелее всего было нараставшее ощущение нехватки воздуха: не помогал ни перкуссионный массаж, ни пронопозиция, то есть положение лицом вниз. И если Руднев как бывший бегун-средневик ещё мог терпеть гипоксию — сколько раз он вот так задыхался, хватая ртом пустой воздух, когда выбегал с виража на финишную прямую, — то Миле психологически было куда тяжелее. Она дышала натужно и часто, порой начинала метаться в постели, и в её глазах Руднев видел уже настоящий страх.

— Вызывай, Ваня, “скорую”, — прошептала она между приступами кашля. — Я больше так не могу...

Машина приехала на удивление быстро: видно, бригаду предупредили, что они забирают не просто двух докторов, но ещё и работников красной зоны, заразившихся во время дежурства. Когда Руднев, опираясь о стену, подошёл к двери и открыл её, он увидел две точно такие фигуры, какие привык встречать на работе: в белых бесформенных комбинезонах с синими лентами клееных швов, в респираторах и шестелящих бахилах.

— Готовы? — без лишних слов, женским голосом проговорила одна из фигур.

- Готовы, — кивнул Руднев.
- Сами дойдёте?
- Попробуем...
- Тогда двигаем! Только маски наденьте.

Они медленно все вчетвером спустились по лестнице в холл. Руднев подерживал Милу за локоть, чувствуя, как она горяча и как часто дышит.

Внизу дежурил всё тот же толстый портье. Он с очевидным испугом следил за процессией, медленно пересекающей холл: две фигуры в белых комбинезонах словно конвоировали двух то и дело кашлявших бывших его постояльцев.

— Может, приляжете? — басом спросил водитель, указывая на носилки в салоне машины.

И Руднев, и Мила лечь отказались: дышать легче сидя, чуть наклонившись вперёд. Ночь, на их счастье, освободила улицы города, и они ехали почти без остановок. Качаясь в салоне то разгонявшейся, то чуть тормозящей и кренящейся на поворотах машины, Руднев испытывал неожиданное облегчение. Он кашлял по-прежнему часто, грудь болела и воздуха не хватало, но его утешала мысль, что он передаёт попечение о своей и о Милиной жизни из собственных рук в руки тех, кто их вёз, а скоро передаст в руки других медиков.

Минут через пятнадцать “скорая” притормозила возле приёмного отделения. Руднев помог Миле выбраться из машины и, всё так же придерживая её за горячий локоть, вошёл с ней в тот тамбур, где он столько раз сам встречал пациентов.

— Это вы, доктор? — сестра Камилла узнала его. — Выходит, и вы не убереглись?

Руднев только развёл руками: что, мол, поделаешь?

— Да-да, — закивала сестра. — От судьбы не уйдёшь...

Молодой врач, имени которого Руднев сейчас не мог вспомнить (голова соображала всё хуже), хотел осмотреть сначала его, но Руднев решительно воспротивился:

— Нет, сначала Людмилу Ивановну!

Пока врач расспрашивал Милу и измерял ей давление, температуру и оксигенацию, Руднева повели на компьютерную томографию. Непривычно и странно было ему самому оказаться в гудящей трубе, а чуть погодя рассматривать изображение собственных лёгких. Казалось, он смотрит чьи-то чужие срезы и озабоченно думает: “Да, этот парень попал в переплёт: все лёгкие в “матовых стёклах”. Навскидку — поражено процентов семьдесят пять...” Мысль о том, что это его собственные лёгкие и что именно он, Иван Руднев, скорее всего, окажется в реанимации — до сих пор так же плохо укладывалась в его сознании, как и мысль о том, что он смертен, и старуха с косой в этот раз подошла к нему так близко, как ни разу ещё не подходила.

У Милы объём поражения лёгких оказался точно таким же, а сатурация у обоих снизилась до восьмидесяти пяти. Ни у кого — и у них самих тоже — не было сомнений в том, куда их госпитализировать: конечно же, в реанимацию, поближе к дыхательным аппаратам, которые могли понадобиться в любой момент.

Их положили на соседние койки, разделённые ширмой. Ширму, впрочем, скоро убрали — она мешала ходить персоналу, — и Рудневу было тяжело видеть, как привычно и быстро, с равнодушной сноровкой обращаются сёстры с обнажённой Милой. В одну руку ей воткнули иглу капельницы, на другую надели манжету тонометра; лицо закрыли дыхательной маской (кислород пока шёл через банку Боброва), и одна из сестёр, держа в руке судно, деловито спросила:

— Помочиться не хотите?

Мила помотала головой, и сестра поставила судно под койку.

С Рудневым делали всё то же самое — разве что вместо судна предложили утку, — но ему гораздо важнее было то, что происходит с Милой. Он даже привстал на локтях, чтобы рассмотреть сатурацию на экране её

прикроватного монитора, но цифры сливались и плыли в его помутившемся взгляде.

— Лежи, доктор, лежи! — нажала ему на плечо медсестра. — Теперь тебе спешить некуда...

56

Дорога в больницу, а затем подъём в реанимацию сильно его утомили, и Руднев себя ощущал, как после забега, забравшего все его силы. “Надо же, — прыгали мысли в его голове, — только что бегал в полях под дождём, потом обнимал горячую Милу, а теперь лежу в чём мать родила, под капельницей и кислородной маской...” Скорость случившихся с ним перемен изумляла его: он до сих пор как-то не верил, что лежит в зале реанимации, а вокруг ходят сёстры, для которых он больше не врач, а тот, кого называют безликим словом “больной”. Казалось, что всё это сон или бред — уж с кем-кем, а с ним такого случиться никак не могло! — и скоро всё это развеется и пропадёт, как пропадают и забываются ночные кошмары.

Иногда взгляд туманился — сёстры, стены и стойки капельниц расплывались и отдалялись — и вместе с чёткостью взгляда терялась отчётливость мыслей. Осознание того, где он находится и что с ним происходит, на какое-то время совсем его оставляло, и казалось, что он снова студент и сдаёт важный экзамен, от которого будет зависеть вся его жизнь. То, что он обнажён и лежит на кровати, как раз говорило о важности испытания: нельзя ни подсмотреть, ни списать. И Руднев, волнуясь, пытался увидеть, кто принимает экзамен? Но экзаменатор постоянно менялся: это мог быть или он сам, доктор Руднев, внимательно слушавший собственный сбивчивый и торопливый рассказ, или Мила, смотревшая на него с невыразимой печалью и жалостью, или кто-то невидимый и незнакомый, но понимающий всё, что хотел сказать Руднев. Казалось, и задыхается он оттого, что ему слишком многое нужно успеть рассказать, а время экзамена неумолимо подходит к концу. Он поэтому и торопился, и перескакивал с одного на другое, и путал слова — иногда вместо слов просто кашлял, но экзаменатор прекрасно его понимал, словно видел студента насквозь, и не задал ни одного дополнительного вопроса.

В какой-то момент своего торопливого и задыхавшегося ответа Руднев понял: слова вообще не нужны — время слов кончилось. Он перевёл взгляд на Милу, лежавшую на соседней кровати. Простыня с неё сбилась, обнажилась и бледная грудь, и ходуном ходивший живот. Видно, даже и кислород, чьи пузыри серебрились в банке Боброва, не устранял одышку. “Лежим нагишом, как младенцы, — мелькнуло в сознании Руднева, — но только на другом конце жизни... Держись, милая: нам сейчас главное — перетерпеть... Потом обязательно будет полегче... Хорошо, что есть маски и кислород, а то мы давно бы уже посинели...”

Скосив взгляд в его сторону, Мила еле заметно кивнула, показав, что вполне понимает, о чём думает Руднев. Ободряя её, он слегка помахал свободной от капельницы рукой, и пальцы Милы шевельнулись в ответ.

Дышать становилось всё тяжелее, несмотря на то, что подача кислорода была максимальной. Гипоксия влияла, прежде всего, на сознание — и мысли Руднева снова смешались, перебивая самих же себя, как бывает, когда несколько шумных и суетливых людей говорят одновременно. “Да перестаньте же!” — хотел Руднев крикнуть всем тем, кто беспорядочно спорил в его голове. Теперь ему представлялся уже не экзамен, а то, как он бежит по виражу стадиона. Как всегда, на последнем круге мучительно не хватало дыхания — пустой воздух со свистом входил в напряжённую грудь, — но опыт многих забегов ему говорил: побеждает тот, кто умеет терпеть.

Он и терпел, надеясь, что не потеряет сознание прежде, чем приблизится к финишу. Беговая дорожка была видна до мелочей отчётливо: с клочками резины, торчащими между чёрных битумных гранул, со всеми трещинами и выбоинами, с белой выцветшей краской разметки и с дощатым бордюром, обозначающим бровку. Но странно, что кроме этой отчётливой и несомненной реальности стадиона перед Рудневым возникали какие-то бледные и ме-

шавшие финишировать миражи — койки, капельницы, каталки, черные шланги дыхательных аппаратов, фигуры в белых комбинезонах, — пробегать сквозь которые ему становилось всё труднее. Каждый шаг путался в этих капельницах и аппаратах, и скоро Руднев уже не понимал: в каком направлении нужно двигаться? Другая реальность — реальность палаты реанимации — обступала его всё плотнее. С досадой — опять ему не дают финишировать! — Руднев вернулся в тот мир, из которого чуть было не убежал.

Теперь он отчётливо различал голоса и слова, которыми обменивались три белых комбинезона, стоявшие у изножья его кровати. Один голос принадлежал Серебрякову, другой, басовитый, заведующему реанимацией, а третьего, женского и молодого, Руднев не узнавал.

Похоже, они проводили что-то вроде консилиума, решая: кому — Рудневу или Миле — отдать последний свободный дыхательный аппарат?

— Я за Михалыча, — говорил Серебряков. — Он, родимый, столько лет у нас отработал — неужели мы не дадим ему шанс?

— А я разве против? — басил заведующий. — Кто спорит: хороший мужик! А Людмила Ивановна, может, и без аппарата справится. Бабы — они выносливей нас...

— Опять обижаете женщин! — возмущался молодой звонкий голос. — Чем доктор Лабина хуже? Приехала к нам из Москвы, добровольцем, а мы её без последнего шанса оставим? Вы как хотите, а я не согласна!

— Ну, дорогие мои, — разводил руками заведующий. — Не монету же нам бросать? И потом, ещё неизвестно, поможет ли аппарат? Сами знаете: как посадишь кого на трубу — хрен потом снимешь...

Руднев, слышавший и понимавший всё, — мысли в эту минуту у него прояснились — свободной рукой сдёрнул маску с лица и позвал Серебрякова.

— Миш... подойди!

Трое комбинезонов переглянулись и замолчали — и один из них наклонился над Рудневым.

— Чего, Михалыч? — спросил комбинезон голосом Серебрякова.

— Я... от аппарата... отказываюсь... — просипел, тяжело дыша, Руднев. — Если надо... могу подписать...

— Уверен? — спросил, глухим голосом, Серебряков.

— Да... аппарат — ей... — повернул Руднев голову в сторону Милы. — А я потерплю...

— Ну, смотри, — вздохнул Серебряков. — Ты, Михалыч, продержись хотя бы до завтра: нам обещали ещё два аппарата доставить. Короче, не ссы — прорвёмся!

— А какой... нынче... день? — трижды выдохнул Руднев.

— С утра была пятница. Давай-ка, я тебе снова маску надену: с кислородом оно всё же лучше...

Он закрыл рот и нос Руднева маской, подтянув её лямку потуже и громко позвал медсестру:

— Валюша, готовь, что нужно: будем Лабину интубировать!

57

“Ну, вот и всё, — с облегчением подумал Руднев. — Осталось последнее: хорошо финишировать...”

То, что происходило с ним, и впрямь напоминало финишное усилие, так хорошо знакомое Рудневу. Его ноги судорожно подёргивались, морща пятками простыню, кисти рук сжимались и разжимались, грудь часто вздымалась, кислород свистел между маской и небритыми, впальными рудневскими щеками, а ему самому представлялась беговая дорожка, уводящая в красноватую зыбкую мглу. Где-то там, впереди, должны быть белые клетки разметки, трибуны и флаги, что плещутся на горячем ветру; но самому бегуну пока не было видно ни финиша, ни судей с секундомерами, чьи стрелки он должен был остановить.

Как ни странно, но гипоксия больше не мучила, а скорей помогала бежать. Он теперь словно парил над чёрной и сухо крошащейся под шипами

дорожкой. Тело ещё продолжало бороться, но сам Руднев словно со стороны наблюдал за его усилиями. С каждым шагом бежать становилось всё легче — шиповки почти не касались дорожки — и, как бывает во сне, каждый шаг мог длиться сколько угодно, подчиняясь уже не законам природы, а единственно воле того, кто бежит.

Время от времени, впрочем, он воспринимал и реальность. То ли так действовали препараты, которые капали Рудневу сразу в две вены, то ли увеличивалась подача кислорода в его маску, но он краем глаза и краем сознания замечал стойки капельниц, стены палаты и кровать Милы рядом, возле которой хлопотали фигуры в белых комбинезонах. “Это что, ангелы? — думал Руднев, удивляясь замедленной плавности их движений. — Я-то сам двигаюсь много быстрее: им за мной не угнаться...”

Да, он бежал легко и свободно, как не бегал ещё никогда. Шиповки уже не касались земли, а упруго толкались о воздух; и всё, что его окружало в палате — стены, койки, флаконы с лекарствами и шланги дыхательных аппаратов, — всё становилось расплывчато-ненастоящим. С каждым шагом он выбегал не только из этих кафельных стен, но и из тела, лежавшего навзничь и продолжавшего часто, нутужно вздыхать. Как же он раньше не понимал, что всё дело именно в этом: выбежать не просто из тех минут и секунд, что отмечены мелкою дрожью судейских стрелок, но в том, чтобы выбежать из самого себя?

И сейчас, наконец, у него получалось: его нёс сильный, радостный ветер победы. Над трибуною хлопали флаги, кричали болельщики, и Иван был уверен, что Мила, конечно же, видит, как он побеждает в забеге...